

СЛЕД

В СЛЕД

ВЛАДИМИР  
ШАРОВ

МНЕ ЛИ

НЕ ПОЖА

ЛЕТЬ

РОМАНЫ

ДО И ВО

ВРЕМЯ

Большая проза

Владимир Шаров

**След в след. Мне ли не  
пожалеть. До и во время**

«Издательство АСТ»

1991, 1993, 1995

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Шаров В. А.**

След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время / В. А. Шаров —  
«Издательство АСТ», 1991, 1993, 1995 — (Большая проза)

ISBN 978-5-17-146011-2

Владимир Шаров (1952–2018) – писатель, историк, автор романов «Репетиции», «Возвращение в Египет», «Старая девочка», «Будьте как дети», «Царство Агамемнона», «Воскрешение Лазаря», лауреат премий «Большая книга» и «Русский Букер». Во всех его романах – или, скорее, философских притчах – семейная хроника неразрывно соединена с историей страны, а библейские мотивы переплетаются с темой Революции. В настоящее издание вошли романы «След в след», «До и во время» и «Мне ли не пожалеть».

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-146011-2

© Шаров В. А., 1991, 1993, 1995  
© Издательство АСТ, 1991, 1993, 1995

## Содержание

След в след	6
Важное задание	84
Конец ознакомительного фрагмента.	92

**Владимир Шаров**  
**След в след. До и во время.**  
**Мне ли не пожалеть**



**РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО**  
**ЕЛЕНА АСТ**  
**ШУБИНОЙ МОСКВА**

© Шаров В.А.

ISBN 978-5-17-146011-2 © ООО «Издательство АСТ»

## След в след Роман

Эти записки я начал собирать из многочисленных разрозненных заметок в феврале 1979 года, через два года после смерти моего приемного отца Федора Николаевича Голосова, их главного действующего лица, а по большей части и автора. Соединить отдельные воспоминания, дополнить их до целого (здесь мне во многом повезло) было моим долгом перед умершей, пресекавшейся на нем семьей Федора Николаевича. Как приемный сын я тут не в счет.

После этого предисловия и до самих записок мне кажется нужным сказать несколько слов о последних годах жизни Федора Николаевича и объяснить, почему я был усыновлен им.

Мое имя Сергей Петрович Колоухов. Со стороны матери я принадлежу к коренным воронежцам; судя по дворянской росписи конца XVII века, ее предок вместе с набранным отрядом низовых казаков был поверстан на службу в 1698 году и получил землю недалеко от Воронежа в Епифанском уезде. В 1862 году, сразу после крестьянской реформы, семья ее продала маленькое поместье, которое у них еще оставалось, и перешла в широкую и многоликую группу разnochинцев, дед со стороны матери учительствовал и в начале XX века был директором Первой воронежской мужской гимназии, состоя в чине действительного статского советника. До сих пор живы ученики этой гимназии, которые его хорошо помнят. Моего деда по отцовской линии судьба кидала из стороны в сторону больше, чем родителей матери, но и он по тем временам прожил жизнь вполне спокойную. Родом он был из Сибири, из-под Омска, в 1910 году поступил в Дерптский, ныне Тартуский, университет и там учился у знаменитого в то время ботаника Козо-Полянского. В шестнадцатом году, после защиты магистерской диссертации, он был оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию, а в восемнадцатом, после начала эстонской независимости, вместе с русской профессурой и большей частью библиотеки, вместе с тем же Козо-Полянским, относившимся к нему как к сыну, переехал в Воронеж, где осел. Его сын и был моим отцом.

Хотя я всё свое детство прожил в Воронеже, до двадцати лет надолго никуда из него не уезжал, знаю в нем каждый дом, каждую улицу, знаю многих людей, живших на этих улицах – у матери и отца был, что называется, «открытый дом», к нам ходили чуть ли не все, кто был связан с университетом, – словом, хотя город должен был быть для меня живым из-за людей, связей, воспоминаний, так никогда не было. Массивные, низкие, как будто недостроенные дома, длинные, как туннели, пересекающие весь город улицы (память о Петре и Петербурге), по которым зимой дуют степные заволжские ветры – в детстве я больше всего боялся, что они унесут меня, – к нам эти ветры приходят со стороны Саратова, но родина их дальше, в казахских степях, и еще дальше, в Сибири. Город и сам казался мне родом оттуда. Конечно, я не прав, и он все-таки живой; здесь родилось несколько хороших писателей, поэтов, художников, отсюда и любимый мной Андрей Платонов.

В нашем городе был и до сих пор есть некий налет столичности, десяток монументальных зданий, балет, – всё это память того краткого периода, когда он был столицей огромного Центрально-Черноземного края, а потом, по слухам, должен был стать столицей РСФСР, однако куда больше в нем от лишенца. Воронеж был обманут и с Россией, и со старой областью, от которой перед войной оставили ему едва треть, но обманут, особенно по тем временам, не жестоко, не страшно.

После революции здесь осели очень многие: и тартуская профессура, и те, кто переехал сюда в пору взлета Воронежа, а потом уже не имел сил снова подняться и искать другого. Все они довольно быстро смешались со старыми, коренными воронежцами, благо пустых, брошенных своими мест было много, бежать отсюда было легко – до Дона, Ростова, Кубани, Крыма

рукой подать. Слившись, эти разные и опять-таки разночинные интеллигентские толки снова начали ставить любительские спектакли, играть в бридж и буриме, а под Новый год крутить тарелки, снова, как и раньше, в домах весь январь не убирали маленьких пышных сосенок, которые здесь наряжали вместо елок, – длинные иглы их почти не опадали.

Бытовала тут и кое-какая наука: хорошая библиотека, центр Черноземья, рядом огромный старый бор, самый южный в степи, в деревнях мешанина всяческих сект – граничность этой территории, хоть и было время всему смешаться и сойти на нет, еще чувствовалась – старообрядцы, молокане, хлыстовцы, странное село с блеклым русым вырождающимся народом, упорно считавшим себя евреями, – то ли адвентисты, то ли потомки хазар, разбросанные тут и там хутора немцев-колонистов, по большей части, правда, уже без немцев, – всё это среди ровного пространства степей, где нет ни гор, ни леса, кроме одного бора, ничего, за что можно было зацепиться, укрыться, где ветер, который так пугал меня в городе, давно уже должен был сдуть и смешать всё.

С Федором Николаевичем Голосовым я познакомился, когда мне было тринадцать лет, в начале или середине пятидесят седьмого года. Как-то на одно из наших семейных торжеств, семейных только по названию, школьный друг отца – теперь он работал директором авиационного завода – привел не знакомого мне студента. Было ему лет двадцать, и было известно, что он москвич, сын крупного конструктора самолетных двигателей, имя которого назвали всего один раз, да и то шепотом, он был засекречен. По каким-то никому не известным причинам Голосов уехал из Москвы и теперь собирался навсегда поселиться в Воронеже, он уже перевелся на IV курс истфака и только что сдал летнюю сессию.

Вопреки обычному нелестному мнению о москвичах, существовавшему у нас, как и везде в провинции, он оказался удивительно тихим и приятным человеком, легко вошел в наши занятия, от игры в карты до всё того же верчения тарелок, и, в общем, уже через год-полтора стал своим. Правда, непонятность, странность его переезда продолжала еще долго сковывать остальных, в нашем кругу все друг о друге всё знали, и не только с пеленок: женились, разводились, вновь сходились, но, что бы ни случилось, почти никогда не преступали границ, внутри которых родились и выросли.

Дважды или трижды была предпринята попытка женить его (у Голосова был долгий роман с одной из наших знакомых) и тем самым как бы упрочить его воронежскую прописку, несколько раз через московских знакомых узнавали о причинах столь неожиданного кульбита, но в обоих случаях результат был неутешительным, недоверие осталось, однако никаких зримых поводов для беспокойства не было, всё шло так же, как раньше, и я теперь понимаю, что эта тайна даже немало обогатила всех, дала нашему кругу как бы другой пласт измерения. С того времени многие начали таиться, чего раньше у нас никогда не было, отношения от этого не ухудились, но былой простоты не стало.

К году переезда Федора Николаевича в Воронеж я уже в целом определился: новейшая философия (конец XIX – начало XX века), пришедшая, как это ни смешно, на смену маркам, занимала всё мое время. Хорошие способности к языкам, характерные для нашей семьи – и дед, директор гимназии, и отец были лингвистами, специалистами по классическим языкам, – позволили мне еще до окончания школы свободно знать латынь, немецкий и французский, а также без особого труда разбираться в английских текстах. Богатейшее университетское собрание философов рубежа века было в почти монопольном моем пользовании, месяцами я не сдавал книги, читал, конспектировал, делил на школы, искал влияние и противоборства.

В семнадцать лет, после окончания школы, я поступил на философский факультет – и теперь сталкивался с Федором Николаевичем почти ежедневно: кафедра, на которой я хотел специализироваться, и его были рядом. К этому времени он уже защитился и читал курс русской истории. Так получилось, что мы вместе стали ходить в университет, часто гуляли и в

недолгое время близко сошлись. Хотя он был старше меня менее чем на десять лет, я, да и он, числили друг друга в разных поколениях и не переходили дистанцию.

В двадцать один год моя жизнь круто изменилась: родители разбились насмерть в только что купленной машине, и я остался один. Сейчас я не помню, как прожил ту весну и лето. Единственным, кого я мог тогда видеть, был Федор Николаевич. Теперь я понимаю, что он уже в то время добросовестно пытался заменить мне семью, но при тех отношениях, которые у нас были, это было невозможно; денег я не брал, от всякой помощи отказывался, мне казалось немыслимым, что кто-то будет делать для меня то, что делали мать и отец. Внешне его поведение со мной почти не изменилось, однако я чувствовал, что стал в его глазах другим, да и сам часто ловил себя на том, что кажусь себе старше его: все-таки у него были и отец, и мать, а у меня никакого прикрытия уже не было, я был старшим в своем маленьком роде, главным и последним в нем. Всё же, хотя я и не позволял Федору Николаевичу помогать мне, я знаю, что только благодаря ему я смог тогда стать на ноги.

Жизнь продолжала нас связывать и дальше. В двадцать два мне предложили аспирантское место в Москве, но по специальности, которая не вызывала у меня ничего, кроме недоумения, – научному атеизму. В Воронеже никаких перспектив не было, я как бы намеренно вышел из того круга, центром которого были мои родители, продолжать старые отношения я не хотел и не мог, однако сейчас, задним числом, я часто удивляюсь, как быстро произошел этот разрыв, как быстро я был изъят из их жизни, а они из моей.

Несмотря на отличный диплом, ме́ста при университете для меня не нашлось, и я был распределен в школу. Шел август. Я уже начал готовиться к урокам, несколько раз побывал в своей будущей школе; Федора Николаевича в это время в Воронеже не было – еще в июне он уехал в Москву, где тяжело болела, а в конце июля умерла его мать. В середине августа он вернулся, чтобы уладить свои воронежские дела перед возвращением, уже окончательным, в Москву. Отец его после смерти жены оказался совсем один, очень сдал, тоже почти всё время болел, и оставлять его надолго было нельзя.

Больше как о шутке я рассказал Федору Николаевичу о месте научного атеиста, но он отнесся к этому делу иначе, и в конце концов я следом за ним поехал в Москву – может быть, не столько из-за его доводов, сколько из-за него самого. В ноябре я легко выдержал экзамен и стал аспирантом. В Москве через два года я женился на милой девушке, тоже аспирантке, но из другого сектора; она была похожа на мою мать, но не лицом, а скорее повадкой, и, думаю, понравилась бы родителям, будь они живы. На последнем году аспирантства у нас родился ребенок; кучу проблем, которую вызвало его появление, мы, признаться, не предвидели. Ни жить, ни работать было негде. С Федором Николаевичем мы в то время почти не виделись, и поэтому и жена, и я были буквально поражены, когда он предложил нам поселиться у него в большой трехкомнатной квартире на Суворовском бульваре, оставшейся ему после недавней смерти отца. Несколько раз он пытался прописать нас у себя, а потом, когда выяснилось, что единственный путь – усыновление, он и моя жена сумели уговорить меня на это.

В январе семьдесят второго года, ровно за семь лет до неожиданной смерти Федора Николаевича, я стал его сыном, правда, сохранив свои прежние имя, отчество и фамилию. Умер Федор Николаевич 16 января семьдесят девятого года – в нашем подъезде, от разрыва сердца, буквально за одну секунду. Врач-кардиолог, который жил на втором этаже и тут же спустился, уже ничего не смог сделать.

После смерти Федора Николаевича я оказался его единственным наследником – других родных у него не было. Среди той части имущества, которая нам была не нужна и которую мы записали на антресоли, находился и огромный портплед, где, как я знал, хранились бумаги и записки, отобранные Федором Николаевичем за год до смерти. Я знал также, что остальное он сжег, а с этим собирался работать дальше, и что эта работа была для него главным в жизни.



То, что я убрал эти бумаги и забыл о них, – мой грех, так же как и другой грех – согласие на усыновление: есть вещи, которые делать нельзя, даже если никому от этого не стало хуже.

Надо сказать, что при том, что мы действительно последние годы жили как одна семья, Федор Николаевич никогда не посвящал меня в свою работу, да и я ни в коей степени не вмешивался в его дела и не интересовался ими; степень близости между нами была перейдена, и углублять ее мы оба не желали. Во многом здесь сыграло роль мое чувство вины перед матерью и отцом за согласие на усыновление и его чувство вины за то же самое. Архив Федора Николаевича провалился среди другого хлама несколько лет; я говорил себе, что надо заняться им, что это мой долг, но всегда текущие дела отвлекали меня, и я постепенно стал о нем забывать. Антресоли пополнились папками с моими бумагами, и портплед потонул в них. Боюсь, что я бы так и не вспомнил о нем, если бы мне, насколько это вообще возможно для научного атеиста, не был дан знак свыше.

В марте 1984 года я работал в архиве Троице-Сергиевой лавры в фонде тогдашнего архимандрита отца Феодосия, готовя большую статью о религиозной философии рубежа века. Материал был богатейший, особенно интересной была переписка Феодосия с Владимиром Соловьевым. К концу месяца у меня набралось уже несколько толстых тетрадей выписок, и я понял, что пора остановиться, иначе потонешь. На завтра я заказал последнюю порцию дел, в гостинице достал спрятанные на дне чемодана коробки конфет для девочек из хранения, а потом отправился в ресторан. Утром пиво поставило меня на ноги, и я, хоть слегка и помятый, к одиннадцати был в архиве, вручил свои дары, получил дела и принялся за работу.

Развернув очередное послание к Феодосию, я вдруг увидел, что оно написано почерком Федора Николаевича. Ничего не понимая, я долго тупо смотрел на него, потом перевернул страницу, но и там были те же нажимы и те же буквы. Письмо было написано его рукой – сомнений тут не могло быть никаких; ни разу в жизни я не встречал ничего похожего на его резные, с явным левым наклоном, одновременно совершенно непонятные и каллиграфические буквы. Подписано письмо было фамилией Шейкеман, которую я видел впервые. Было оно короткое и неинтересное: отпуск денег для библиотеки и список вновь приобретенных книг. Два часа я просидел над этим злосчастным посланием, раз тридцать перечел его, рассматривая каждую букву; с таким бредом я еще не сталкивался, впору было перекрестить письмо и сказать «сгинь». Единственное, что пришло мне в голову, – посмотреть, нет ли в архиве фонда этого самого Шейкемана. Девочки разузнали мне всё за двадцать минут: фонд был, но принести его уже не могли – пятница, вечер и из хранения все ушли.

Я тоже собрался и вышел на улицу. Город тонул в густом тумане, и церкви почти не были видны, ранняя в этом году весна растопила снег, и обычная вязкая грязь маленьких городков стояла везде. Скоро должны были звонить к вечерне. У главных ворот лавры я свернул налево и начал обходить ее, так часа полтора я гулял каждый вечер. Скоро и вправду зазвонили, туман глушил и рассеивал звук, звонили со всех сторон, но далеко. На полпути я потерял лавру, долго плутал по кривым грязным улочкам, спрашивать никого не хотелось, а потом, сделав почти полный круг, неожиданно вышел к центральной площади, где стояла моя гостиница. Я уже знал, что сегодня поеду домой, приму ванну, вообще по возможности приведу себя в порядок, в понедельник же продлю командировку и займусь этим Шейкеманом, а после него – архивом Федора Николаевича. Домой я попал среди ночи – и сразу же стал рыться в столе, ища письмо или какую-нибудь записку Федора Николаевича: все-таки я надеялся, что почерк не его; наконец нашел – и так же тупо, как в архиве, понял: его.

После смерти Федора Николаевича, пока еще всё, связанное с ним, не стало забываться, я часто думал о конце его семьи; мне было страшно, что я оказался единственным его родственником, единственным наследником. Но у меня со стороны отца и матери до второго и третьего колена не осталось никого – во всяком случае, я ни о ком никогда не слышал. Помню, что на поминках Федора Николаевича я, чуть ли не первый раз в жизни напившись, говорил жене,

что предал отца и мать, что это из-за нее я отказался от них, и теперь мне надо продолжать два рода – и свой, и Федора Николаевича, и что я так не могу. Потом, когда все ушли и мы остались одни в этой огромной квартире, я лег в своей комнате, но спал недолго, скоро поднялся и стал искать жену. Я ходил из комнаты в комнату, но ее нигде не было, мне стало страшно, я закричал, она тут же прибежала, и я, так же в крике и в слезах, выговаривал ей, что я всех предал и теперь, как обрубок, никому не нужен. Она почти до утра просидела со мной, ничего не говорила, только гладила. Больше мы к этой теме не возвращались, но уже тогда, пьяному, мне показалось, что она думает так же, и ей нечем помочь мне.

Теперь, после своего ночного возвращения из Загорска, я проснулся, уверенный, что Шейкеман и Федор Николаевич напрямую связаны между собой. Всю ночь то ли во сне, то ли в полудреме я думал, почему Шейкеман возобновился именно в почерке, буквы и слова представлялись мне дорожкой, уже один раз пройденной, которую надо размотать, распутать, чтобы не петлять и идти скорей. Моя утренняя уверенность была связана с наблюдениями за сыном. После смерти отца и матери я искал в нем их черты, подсознательно я думал, что мой сыновний долг хоть в каком-нибудь, пускай неполном виде, возобновить их. Внешне Саша мало походил на нас: глаза, правильно очерченный рот, весь облик скорее напоминал линию жены, – однако мелкими, непонятно даже как наследуемыми особенностями характера, вкусами, пристрастиями он пошел в нас. Спал он так же, как отец, в позе задумавшегося философа, положив указательный палец на нижнюю губу, и, как отец, отходил от ссор, рассматривая географическую карту. Как я, он просыпался всегда в том же настроении, в каком заснул, а говоря, кружил по комнате, причем чем быстрее говорил, тем быстрее и кружил, отец называл это «разматыванием мысли». Почерк был из особенностей того же рода.

Встав, я принял ванну, позавтракал и, несмотря на протесты жены, начал разгребать антресольный мусор, пока не добрался до портплекта Федора Николаевича. На пятой из двух десятков папок, лежащих в нем, была приклеена бумажка с надписью «П.М.Шейкеман». Выписок в ней было мало, Федор Николаевич знал о своем прадеде только то, что он был белорусским евреем, участвовал в Балканской войне 1877–1878 годов, потом крестился, принял сан и священствовал в одном из подмосковных приходов; его единственным ребенком была дочь Ирина, умершая в 1923 году. С удивлением я обнаружил, что не авиаконструктор Голосов, фамилию которого он носил, а сын Ирины Шейкеман Федор был настоящим отцом Федора Николаевича. Всё остальное, что есть в этих записках о П.М.Шейкемане, мне удалось разыскать в трех основных местах – в архивах Троице-Сергиевой лавры и Московской патриархии, а также в различных московских и петербургских газетах 70–80-х годов прошлого века.

Надо сказать, что сам Шейкеман в своих письмах старательно обходил всё, что касалось его юности и Балканской войны, и без газет, несмотря на их вранье и подчас фантастические преувеличения, мне было бы нелегко понять хоть что-нибудь из его жизни. В письмах, как мне кажется, я сумел уловить общий тон этого человека, и из газет выбирал живые детали, согласные с ним. Историю жизни Шейкемана я начну со стихотворения Федора Николаевича, которое, как мне кажется, ей близко:

Стволы поваленных деревьев покрыты мхом,  
Их корневища сгнили, и ямы заросли землей,  
Кору и мох укроют снега зимой.  
Во время мора скот пал и брошен пастухом:

Кто был хозяин здесь, предвидел большой падеж,  
В начале осени балтийской ветер гнилой  
Несет дожди, и с ними уходит дух живой.  
Кто ходит за тобой? Пастух твой знает,

когда ты упадешь.

В земле вода проложит корни свои,  
И, укрепясь, где дерево стояло, начнет ручей,  
Ствол дерева, покрытый мхами, – он неизвестно чей,  
Он здесь лежит всю осень, он дышит от земли.

Петр, до крещения Симон Моисеевич Шейкеман, был старшим сыном гомельского кантора Моисея Шейкемана, имя которого в середине прошлого века знали многие евреи черты оседлости, и сотни из них приезжали в большую гомельскую синагогу послушать его необыкновенно сильный и мягкий голос. Самый чтимый в то время в Белоруссии раввин Соломон Тышлер из Гродно говорил, что у него добрый голос и Господь всегда слушает его. Гомельские евреи, молившиеся вместе с ним, тоже считали так, и семь лет, пока он пел, молитвы их доходили до Господа: в городе не было ни одного погрома, и община, насколько это вообще возможно, процветала.

Много раз Моисея Шейкемана приглашали петь крупнейшие синагоги Киева, Одессы, Минска, Лодзи, однажды его несколько дней обхаживал антрепренер застрявшей в городе итальянской труппы: их баритональный бас, на котором держался весь репертуар, умирал в больнице. Антрепренер сулил ему всероссийскую славу, но Шейкеман и ему, и другим отвечал отказом. Кажется, это было связано не столько с местным гомельским патриотизмом, сколько с желанием вообще уехать из России. Такая возможность действительно представилась (его пригласили занять место кантора в главной пражской синагоге), но уже тогда, когда петь он не мог.

Осенью шестьдесят четвертого года Шейкеман простудился, болезнь быстро перекинулась на легкие, к январю он, кажется, поправился, стал выходить, пробовал петь, но в марте всё пошло по второму кругу и куда серьезней. Начался туберкулезный процесс. Как только в городе это стало известно, евреи собрали большую сумму денег, и он был отправлен лечиться в одну из швейцарских клиник. Доехал он с трудом, но болезнь захватили вовремя, и через три года он вернулся в Гомель практически здоровым, но без голоса. Болезнь началась с горла, с голосовых связок, и они уже не восстановились. Надо сказать, что с тех пор голос исчез из семьи навсегда: никто из четырех детей Моисея Шейкемана, родившихся после его возвращения из Швейцарии, не обладал, в отличие от старших, никакими способностями ни к пению, ни к музыке.

Три года его болезни (за это время жена Моисея Эсфирь дважды приезжала к нему в Давос) полностью разорили семью. Кроме собранных на лечение денег, отдавать которые было не надо, Шейкеманы задолжали очень большую по тем временам сумму. Частично деньги выплатили, продав дом в Гомеле, после чего вся семья переехала в маленькое приднепровское местечко Речица, Эсфирь была родом оттуда; оставшийся долг они обещали покрыть в течение десяти лет. Как это сделать, никто не знал. Дальнейшая судьба долга мне не известна, но по некоторым глухим намекам в письмах Петра Шейкемана можно предположить, что их обязательства скупил дальний родственник Эсфири, чем-то, кажется, ей обязанный. Он содержал корчму и был единственным богатым человеком в местечке. Возврата долга он не требовал, но и обязательств, как обещал вначале Эсфири, не уничтожил.

В Речице семья голодала, единственным заработком были редкие уроки в хедере, которые иногда уступал Моисею Шейкеману местный меламед. Спасались они, собирая в лесу ягоды, грибы и особенно травы, которыми Эсфирь лечила русских жителей местечка. Евреи не верили в травы и вообще не любили ее. Еще о Моисее Шейкемане мне известно, что он был очень красив, хотя в Гомеле многие, особенно русские, находили его внешность демонической и удивлялись разности лица и голоса. Знаю и то, что после переезда в Речицу он каждый месяц,

и летом и зимой, на неделю уходил из местечка в лес, говорили, что в лесу у него вырыта землянка и он уходит туда молиться.

В 1870 году Симон (Петр), сын Моисея Шейкемана, и Иосиф, сын их заимодавца, окончили хедер, они с детства были ближайшими друзьями, оба – первыми учениками и гордостью местечка, но для наших записок гораздо важнее, что оба они были влюблены в дочь мела-меда Лию, и она, несмотря на запреты родителей, отдавала явное предпочтение Симону, очень походившему на своего отца. Все знали, что они любят друг друга и осенью, когда получают паспорта, собираются уехать в Америку. В том же 1870 году в местечке был объявлен новый набор рекрутов, среди прочих жребий пал на Иосифа, и его отец вместо того, чтобы нанять русского рекрута – это было возможно, – потребовал, чтобы шел Симон или чтобы Моисей Шейкеман немедленно погасил долг. Причиной тому была Лия.

Когда Эсфирь узнала об этом, Моисей Шейкеман был в лесу. Через несколько дней он вернулся, говорил с женой и, не сказав сыну ни слова, снова ушел. Эсфирь тоже молчала. Симон был оставлен один и должен был сам решить, что ему делать. В письмах Петра Шейкемана ссылки на эти дни возникают несколько раз (единственное упоминание Речицы во всей переписке), и всегда как пример положения, из которого нет выхода. И отец, и он знали, что деньги должны быть возвращены, знали, что он должен идти, знали, что он пойдет, и оба понимали, что он платит чужие долги, платит за отца в Швейцарии, за поездки матери к нему, платит за своих братьев и сестер.

Своим согласиём он сразу стал старше своей семьи, старше отца. Он нарушил ход жизни рода и должен был выйти из него. Семья предала его, откупилась им, и он знал, что спасает то, что для него самого уже потеряно. Когда он в лазарете после тяжелейшего ранения в живот узнал, что будет жить, и согласился креститься, это было только завершением его выхода из рода, из всего избранного Иеговой народа. Это равно понимали и он, и отец, не сказавший ему тогда в Речице ни слова и ушедший в лес, и мать, бывшая с ним до последней минуты и тоже ничего не сказавшая ему, и его братья и сёстры, и всё местечко. Забегая вперед, скажу, что ни до, ни после крещения он никогда не переписывался со своей семьей и, кажется, не имел никаких известий о ее судьбе. В отличие от других неофитов, знавших свой грех и мстивших за него прежним единоверцам, в отличие от иступленной религиозности многих из них, он был спокоен в своей новой вере как человек, заплативший за всё вперед и бывший теперь в расчете.

В русской армии Петр Шейкеман прослужил десять лет, с семидесятого по семьдесят девятый год. Он прошел всю Балканскую войну от тяжелейшей переправы через Дунай, во время которой их батальон первым форсировал реку, закрепился и дал навести переправу. Во время этого боя из пятисот человек в живых осталось только семьдесят, остальные утонули в реке или погибли, защищая первый кусок правого берега Дуная. После переправы они разыскали и похоронили меньше сотни своих, а другие три с половиной сотни не добрались и до берега. Потом их батальон пополнили почти до нормы, назначили нового командира – старый капитан Тулик был убит – и после недельного отдыха послали дальше. Они попали в корпус генерала Гурко, вместе с ним прошли всю Болгарию, взяли обледенелый Хаинкиойский перевал, заняли Шипкинский – этот же перевал они под командованием Столетова затем обороняли от главных сил турок.

Штурм шел три дня, а потом еще несколько, но уже не так сильно – и турки устали, и они подкрепление получили. Их батальон был почти весь перебит уже в первый день боев, из четырехсот осталось тридцать: батальонный – капитан Жуков, ротный – поручик Глюк, и двадцать восемь солдат без единого унтера. Стояли они чуть ниже седловины, на той стороне перевала, которая была обращена к туркам, и раньше других оказались под ударом. На Шипке в первый раз зацепило и его, пуля попала в живот, сначала он кричал, но своих, живых, рядом уже не было, а турки еще не подползли, только стреляли, потом впал в забытие, и турки, когда пришли, думали, что он мертвый, и он сам так думал. Из карманов они у него всё вынули,

сапоги сняли, а приканчивать не стали – значит, даже не пошевелился. Под утро, когда стало совсем холодно, он очнулся, наши по этому месту сильно стреляли, и турки отошли назад, ниже, а он пополз к своим, выше, и помнил, что кишки придерживал, чтобы не вывалились. В конце концов в лазарете его выходили, и там же, в лазарете, сам Скобелев приколол ему второго солдатского Георгия, первого он получил за переправу через Дунай.

Из евреев он был единственный награжденный двумя Георгиями, и это сразу сделало его одним из героев войны. Пока он был в лазарете, еврейские, а потом и русские газеты писали о нем изо дня в день. Для либеральной прессы он был свидетельством верности евреев своему русскому отечеству и подтверждением необходимости пересмотра законов о евреях, а правые (здесь главным был «Гражданин» Мещерского) тоже хвалили его, но отмечали, что такой еврей один, а остальные только и думают, как бы спойти и ограбить русского мужика, а самим и детям своим в солдаты не идти. Потом, после того как Симон Шейкеман крестился (кстати, его крестным был тот же Скобелев) и правые начали писать о нем только как о герое, из евреев он был сразу же изъят, и лишь в двух из множества статей я нашел замечание, что путь Петра Шейкемана – единственный для евреев России, если они хотят здесь остаться.

Правые были авторами и большинства легенд о Шейкемане. Человек он был действительно отчаянный, больше потому, что до Шипки не хотел жить, всегда вызывался охотником, ходил за «языками», в полку считался из первых храбрецов, но из того, что ему приписывалось, не совершил и десятой части. Особенно популярна была история крещения Шейкемана, обошедшая многие газеты. Пошла она от «Московских ведомостей», которые писали, что спас его солдат Иван Солопов – такой действительно был в их батальоне и погиб, защищая Шипку, – что он вынес его, тяжело раненого, из-под огня, до этого за ним дважды ходили другие солдаты, один русский, другой болгарин, но оба не дошли, так густо стреляли турки. Солопов же дополз и вынес его, или, вернее, выволок. Лежал Шейкеман совсем плохо, точно между своими и турками, наши оттуда еще вчера отошли, а турки их окопов пока не заняли, боялись и только стреляли. Добирался до него Солопов долго, и, хоть наши, как могли, отвлекали турок, его заметили, и, когда он назад, в гору, полз с Шейкеманом, турки по нему уже всё время стреляли. Корреспондент писал, что меньше двух метров оставалось до укрытия, когда пуля попала Солопову в спину. Потом они лежали вместе в лазарете на соседних койках, считалось, что оба умрут, но Шейкеман выжил, а у Солопова началась горячка, его соборовали, и он за полчаса до смерти, придя в сознание, прошептал что-то один раз, второй, но разобрать было нельзя, а потом, когда врач и Шейкеман склонились над ним, поняли, что он Симу Шейкемана зовет и ему говорит: «Ты, Сима, когда я умру, крестись, а то бусурмане радоваться будут, что христиан меньше стало».

После войны Шейкеман вышел в отставку по ранению и поехал в Сергиев Посад к троицкому архимандриту Феодосию, который много писал ему и звал к себе в монастырь долечиваться. Как видно из писем, сначала Петр Шейкеман хотел совсем уйти в монастырь, в Речице прервалась и кончилась одна его жизнь, на войне дважды гибли почти все, кого он знал, чудом не погиб и он, теперь, после крещения, как бы обязавшись жить заново, он понял, что у него на это нет сил, что он уже давно пережил себя, и тот остаток, который ему дан, хочет провести среди других людей, доживающих свой остаток, – в монастыре. Думал он и о том, что должен узнать веру, в которую перешел. Феодосий разрешил ему жить в лавре (в основном он лежал в монастырской больнице), но на пострижение неизвестно почему согласия не дал. Виделись они часто, почти каждый день, подолгу гуляли и внутри лавры, и вокруг. Феодосий не знал древнееврейского, но перевод Ветхого завета, который тогда делали и по главам присылали на отзыв, ему не нравился, каждый раз он приносил Шейкеману бумажку с несколькими библейскими стихами и спрашивал его мнение.

Феодосий был духовным отцом Шейкемана, исповедовал его, знал о нем всё, но, когда Шейкеман года через полтора вновь попросил его о пострижении, наотрез отказал ему, запре-

тил и думать, да еще накричал. Дня через два он сам вернулся к этому разговору и сказал, что Шейкеман должен подготовиться к экзаменам за курс семинарии, сдать их и принять сан, с его способностями и знаниями года на это за глаза хватит. Шейкеман подчинился.

В апреле восемьдесят второго года он успешно сдал экзамены, почти сразу женился на дочери покойного фряновского попа отца Сергия Наталье, а летом того же года очень торжественно, в присутствии Московского митрополита и многих троицких монахов, был посвящен в сан и получил приход своего покойного тестя. Фряновским отцом Петром он прожил всего два года. Брак его начался счастливо, уже в конце первого года супружества Наталья родила ему дочь Ирину (крестным был отец Феодосий), ждали еще ребенка, но весной восемьдесят пятого года Наталья простудилась, слегла и в неделю умерла.

Ирина тогда только что научилась говорить «мама» – и два месяца почти всё время звала ее: «Мама! Мама!». Отец Петр думал, что сойдет с ума. Так она просто звала, а когда кто-нибудь приходил, кричала, только кормилицу иногда подпускала, и то ночью, во сне, не разбирая, – тогда ее и кормили. Похудела она страшно, весила как годовалая, и врачи думали, что не выживет. Через год Ирина перестала звать мать, забыла это слово и потом, даже когда выросла, всегда была уверена, что мать предала ее и бросила.

Отца она была влюблена, и он в нее тоже. Вскоре после смерти жены отец Петр оставил приход, снова переехал в Сергиев Посад, но пострига, хотя Феодосий теперь предлагал, не принял, остался в миру, чтобы по-прежнему жить с Ириной. Феодосий сделал его в лавре библиотекарем, и он прослужил на этом месте до самой смерти в 1901 году.

Кроме Ирины и своих непосредственных библиотеческих обязанностей, он позже, отойдя от смерти жены, много занимался двумя темами. Первая была связана с Ветхим заветом, грехопадением Адама, идолопоклонством его потомков, обращением и избранием Авраама, обетованием ему и его роду. Как мне кажется, жизнь рода, жизнь в роде были главными для его понимания всей начальной библейской истории, всего – и смерти, и спасения, и праведности, и греха. Эта его история человеческого рода – его начала, продолжения и конца – во многом повторяла историю его семьи и его самого: Речицу, Шипку, крещение в лазарете, рождение Ирины, то, что она выжила.

Об отношениях Бога и человека он писал в нескольких десятках писем (в основном Феодосию), еще больше осталось дневниковых записей – обычно в виде комментариев к цитатам из Библии, но ничего целого, законченного я не нашел. Я сам пытался свести эти записи воедино, выписал их по годам, сгруппировал, разделил на главы, но работа мне не давалась. Много, хотя и записанное другими словами, на мой взгляд, повторялось, в некоторых записях Шейкеман противоречил себе, еще больше было таких, которые я просто не понимал, поэтому тот текст, который я в конце концов сделал и который пойдет ниже, – это не столько текст Шейкемана, сколько мое понимание того, что он хотел сказать, возможно, весьма далекое от его мыслей.

«...Между начальным, установленным в третий день творения ходом жизни – “И сказал Бог:...И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что *это* хорошо”, – и всей судьбой человека, всей историей отношений между Богом и человеком было противоречие, корень которого в грехопадении Адама. Потомки Адама наследуют его грех. После Адама, изгнанного из рая, после Каина, убившего брата, люди всё дальше и дальше отходят от Бога, и Господь, видя, как множится зло, решает уничтожить человеческий род, но потом всё же спасет его ради одного праведника – Ноя. Но и после Ноя грех человеческий не прерывается. Уже после потопа будет время строительства Вавилонской башни, время богоборчества: “И сказали они: построим себе город и башню высоту до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли” (Быт. 11: 4)».

В переписке Шейкемана это место из Библии встречается несколько раз, и везде он пишет, что люди не думали о возвращении на небо, они хотели лишь сказать Господу, что могут сами, без Бога, вернуться туда, откуда были изгнаны, что они не нуждаются в Боге. Время строительства Вавилонской башни – время ревности к славе Господней – «сделаем себе имя» – первый акт человеческой, без Бога, истории, осознание своей силы как богоравной, попытка утвердить себя людьми – царями всего сущего. После Ноя был и долгий век язычества, век до Авраама, предки которого, жившие в Уре Халдейском, были идолопоклонниками (Иисус Нав. 24: 2).

С Авраама начинается медленный путь спасения человека. С Авраама же, в самом Аврааме, происходит раздробление и разделение рода человеческого на народ, избранный Богом, и на народы, получившие благословение, но не избранные Богом. Авраам через Агарь и Хеттуру продолжает идущую от Адама и Ноя линию праотцев, через них он порождает многие народы, расселившиеся по земле, народы почти сразу же многочисленные и сильные, а через Сарру по чуду Господню начинает избранный народ.

Авраам, продолжая род праотцев, сам шаг за шагом выходит из него, чтобы начать избранный народ. Он продолжает единую жизнь человеческого рода, неразрывную цепь зачатий и рождений, и с него, с Авраама, начинается путь многократного и полного разрыва всех старых родовых связей. Господь говорит Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе» (Быт. 12: 1). Дважды Господь обещает Аврааму дать ему сына от Сарры, его любимой жены, и дает его только тогда, когда ни Авраам, ни Сарра уже не верят в это, не верят в обетование (здесь первый и последний раз неверие Господу есть благо). Неверие Авраама и Сарры означает, что та жизнь рода, которой жили их предки из поколения в поколение, предки, молившиеся чужим богам, через Сарру продлиться не может: «Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных; и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось» (Быт. 18: 11).

Неверие Авраама и Сарры означает знание их, что только чудо Господне может дать Аврааму сына от Сарры. Дважды в Библии Господь называет себя «Богом ревнителем», ревнующим род Авраама к чужим богам: «...Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа; потому что имя Его – “ревнитель”; Он – Бог ревнитель» (Исход. 34: 14); «Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас; Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя, есть Бог ревнитель» (Втор. 6: 14–15). Господь ревнует к богам, которым молились предки избранного им Авраама. Он знает, что жизнь человеческая непрерывна и акт ее творения однократен, он помнит, что Авраам плоть от плоти своих предков, плоть от плоти всех праотцев до Адама, что предки Авраама по вере своей из поколения в поколение просили других богов о плодovitости жен, стад, полей, о защите от врагов, приносили им благодарственные жертвы, и за рождение Авраама тоже; а значит, по вере их, Авраам, избранный Господом, – сын Фары, сына Нахора, сына Аруха... обязан жизнью прежним богам, а ему, Господу, – только избранием, и потомки Авраама тоже, и потомки его потомков, и так до скончания века. После рождения Исаака Господь снова испытывает Авраама и его веру, требуя принести Исаака Ему, Господу, в жертву. Он как бы спрашивает Авраама, чей сын Исаак, – его, Авраама, или сын чуда Господня, сын, дарованный ему Богом, которого Авраам должен вернуть. Авраам соглашается принести Исаака в жертву, возратить его Богу, и Господь оставляет Исаака Аврааму.

Разделение человеческого рода не завершается рождением Исаака. Потом в самом малом для живого человека пространстве, в утробе матери – в утробе Ревекки, жены Исаака, будут бороться две части рода человеческого, равные во всём, равные, как только может быть равно живое, и Господь изберет Себе из этих двух частей одну, и тогда навсегда разойдутся пути частей человеческого рода: «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла спросить Господа. Господь сказал ей: два племени в чреве твоём,

и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ делается сильнее другого, и больший будет служить меньшему» (Быт. 25: 22–23).

Путь спасения человеческого рода, начатый с Авраама путь от избранного Богом одного человека до избранного народа Божьего, многочисленного, как звёзды и морской песок, медлен. Три поколения идет очищение от грехов праотцев, разрыв Авраама и его потомков – Исаака и Иакова – с предками Авраама, разрыв в вере и в наследовании жизни. У истоков избранного народа – нарушение всех обычаев: и избрание наследника, и дарование первородства, и благословение – дело не отца, главы рода, а посредством отца – Бога. Только потом, с сыновей Иакова, начинает Господь избранный народ. С сыновей Иакова нить жизни, которой Господь не давал прерваться, но и не множил, двоятся, троится и, наконец, переплетаясь всё гуще и гуще, образует из семей, родов, колен – народ.

О значении Иакова как первого очищенного от грехов предков, как отца избранного народа, о его богоравности говорит борьба Иакова с Богом у Пенуэла: «И остался Иаков один, и боролся Некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти Меня; ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь» (Быт. 32: 24–28).

В одном из писем Шейкемана к Феодосию есть место, которое, как мне кажется, наиболее близко сделанной выборке. Во всяком случае, именно с ним я сверял ее и по мысли, и по тому, как она строилась. Оно коротко, и я приведу его здесь: «Рождение евреев, рождение избранного Богом народа – главное чудо Ветхого завета. Поэтому их путь от одного человека до многочисленного народа, всё связанное с родом, продолжением рода, генеалогией, занимает едва ли не треть Ветхого завета и, как кажется, одна из важнейших его частей. Измаил-первенец и сыновья Авраама от Хеттуры становятся родоначальниками многих народов, но не становятся евреями, не участвуют в Завете, изгоняются из евреев, они – продолжение старого рода. В детях Ревекки, Иакове и Исаве, не так, как у Агари – служанки и Сарры – любимой жены, а в одной утробе сошлись старый род и новый; сильный, независимый Исав победил – родился первым и ушел, выпал из народа, из евреев, он не нуждался в Боге. Бог выбрал Иакова».

В одном из последних писем Шейкемана к Феодосию (кажется, оно даже не было послано, в фонде Феодосия его нет, а в фонде Шейкемана я нашел только многократно переправленный черновик) Шейкеман снова, после десятилетнего перерыва, возвращается к начальной истории евреев и пишет: «Завет Бога с Авраамом, Исааком, Иаковом, со всем еврейским народом вечен, так же как он вечен с каждой частью этого народа, с каждым евреем. Воскресение в Ветхом завете не индивидуальное, а родовое. Человек воскреснет с родом, он воскрешает своих предков и воскреснет в своих потомках. Вечный Завет с Богом нигде не должен прерваться, ничей род не должен кончиться и оборвать Завет. Семя погибшего должно быть восстановлено его братьями, нить должна быть соединена и идти дальше».

Второй темой, которой Петр Шейкеман долго и внимательно занимался, была история России. Под Шипкой, а потом в лазарете история России стала и его историей, его стала вера, народ, страна, и все-таки он был еще чужак, а дочь его Ирина, плоть от плоти его, была уже своя, была частью, и, как я теперь понимаю, он изучал историю России как историю ее, Ирины, как ее прошлое. Кажется, себя он считал точкой, где ломается линия, точкой перелома, кончившей собой одну жизнь и начавшей другую. Завет с Богом, в котором жили его предки три с половиной тысячи лет, был им прерван, он отсек и был отсечен от него. Началом другой жизни была Ирина.

Я уже говорил, что свою дочь он любил безумно. Вся его жизнь после рождения Ирины была подчинена ей. Буквально каждый шаг, сделанный им после смерти жены, легко объясним, если мы поставим перед ним: «для Ирины». В то же время в его отношениях с ней был страх,



этот страх шел от убеждения, что на нем всё должно кончиться. После смерти Наташи Ирина дважды тяжело, почти безнадежно болела, и оба раза Шейкеман находился на грани умопомешательства. В дневниках не только в это время, а почти на каждой странице он обвиняет себя, что не ушел в монастырь, как собирался, что послушался Феодосия и женился.

Убеждение, что он проклят, никогда не оставляло его. Иногда в конце этих обвинений он приписывал доводы-вопросы в пользу того, что Ирина все-таки будет жить: переправа через Дунай, Шипка, почти все погибли, а меня Господь спас – почему? Врачи говорили, что ранение у меня смертельное, а я выжил – почему? Однако даже в самые светлые для него периоды жизни – выздоровление Ирины, ее брак с Иоганном Крейцвальдом, рождение внука Федора – записи за это время он потом, в конце жизни, очертил красными чернилами и на полях обозначил: «По-видимому, Господь простил мой грех», – так вот, и в эти дни он не верил, что Господь действительно простил его, а думал, что Господь лишь смягчился к нему.

Молясь об Ирине, Шейкеман по-детски хитрил: никогда не называл ее дочерью, прятал ее имя среди имен других людей, за которых молился, в том числе двух Ирин. Самой Ирине он почти ничего не рассказывал о своей жизни до крещения, это была запретная тема, и Ирина, несмотря на то, что правила отцом самодержавно, не смела ее касаться. Прошрое он отсек и за себя и за тех, кто будет после него.

Ирина почти не помнила рано умершую мать, а Шейкеману нужно было, чтобы она связывала себя только с Наташей, продолжала только ее, это было главной его целью, на это он ставил, пытаясь спасти Ирину. Он всегда, во все времена своей жизни, от смерти жены до своей смерти, исходил из того, что родство с ним несет Ирине гибель, а родство с матерью – спасение. В дневнике на второй день после ее похорон он записывает для себя, но надеясь, что и не только для себя: «Если бы у меня был сын, он бы наследовал мне; Ирина дочь своей матери – и только». Один воспитывая Ирину, Шейкеман выставлял себя лишь посредником между умершей матерью и Ириной. Всё, что было в жизни Ирины хорошего, всё, что, как замечал Шейкеман, тронуло, обрадовало ее, приписывалось матери, мать или сама делала и говорила ей это, или, не успев, умирая, завещала Шейкеману.

Кроме такого «посредничества», Шейкеман, пытаясь связать Ирину с матерью, рассказывал о ней сотни разных историй. В конце концов для Ирины эти истории превратились в главную часть дня, без них она отказывалась ложиться спать, их ждала весь день. Прожив с женой только два года, Шейкеман, в сущности, знал ее довольно плохо, тем легче ему было придумывать. Через год в дневнике он записал, что совсем не помнит Наташу, что то, что он рассказывает Ирине, подменило ее. На исповеди он каялся в этом Феодосию, и тот сказал, что это большой грех, и наложил на него епитимью. Однако прекратить рассказы ни Шейкеман, ни его дочь уже не могли.

О взрослой Ирине сохранилось много разного рода свидетельств. Ее знали, ей посвящали стихи, но на первые роли она так никогда и не вышла, даже в теософских обществах, которые сама организовывала. То, что есть о ней и в письмах и в воспоминаниях, очень кратко. Это небрежение, кажется, связано не с ее собственной неяркостью, а с быстро наступавшей усталостью, период запала почти сразу сменялся апатией, и она уходила в тень. Нигде она не успевала утвердиться и так и осталась везде или как Ирина, или под инициалами И.Ш. Была она, пожалуй, красива, но лицо ее портили резкость и нервность, черты лица были беспокойны, быстро менялись, то, что она думала, сразу отражалось в них, и эта занятость лица мешала ей. Быстрая усталость была в ней от внутренних неурядиц, о которых она никогда не могла забыть. Всё же иногда она отвлекалась, переставала думать и терзать себя, и сразу ее тонкое подвижное лицо становилось мягким и плавным, в нем появлялась удивительно красившая ее медленность полной женщины, она становилась похожа на свою мать и была тогда необычайно хороша. В нее были многие влюблены, и все видели, помнили, знали именно эти минуты. С раннего детства она была очень нервной, эта нервность потом усилилась и перешла в болезнь.

С пятнадцати лет за ней наблюдал Ганнушкин, и только благодаря ему она не стала постоянной пациенткой нервных клиник. Крови, которые сошлись в Ирине, были чересчур разные, они не смешивались и мучились в ней.

Она была влюблена в отца, преклонялась перед ним, и в то же время, будучи сама истовой христианкой, она, сколько себя помнила, считала его еретиком, не верила в его православие. Почти всю свою жизнь до замужества она провела в Сергиевом Посаде, среди стоящей над всем и всё организующей монастырской жизни, с пяти лет она каждый день с отцом отстаивала целиком обедню, с тех же лет пела в хоре. Эта жизнь – с перезвоном колоколов, с обычными и праздничными службами, с пением, молитвами, ладаном и свечами – была ей привычна, и она не сомневалась, что, когда вырастет, уйдет в монастырь, будет молиться за отца и спасет его. Иногда она плакала, что ни от чего не отказывается, ничем не жертвует, что сама хочет этой жизни. Позже, когда ей исполнилось шестнадцать и отец определенно высказался против ее ухода в женский Спасо-Евфимьевский монастырь, она начала думать о нормальной, обычной жизни, начала хотеть ее, за что потом, довольная, корила себя и каялась; всё равно она была уверена, что уйдет в монастырь, – но теперь ей было радостно, что она уйдет не с пустыми руками, что ей есть, чем жертвовать.

Когда Ирине исполнилось десять лет, Шейкеман стал на лето снимать один из флигелей барского дома в том же Фряново, где он раньше священствовал. Это было сделано по рекомендации врачей, считавших, что чем больше времени Ирина будет проводить на свежем воздухе, вне монастырских стен, тем будет для нее лучше. Фряново Шейкеман выбрал не только потому, что прожил здесь несколько лет и любил эти места, он ехал сюда за тем, что передать в ежедневных рассказах Ирине ему почти не удавалось. Впервые за долгие годы оказавшись в своем старом приходе, он был поражен, что здесь всё по-прежнему знало и помнило Наташу. Тогда, в этот предварительный – на один день – приезд, надо было договориться с управляющим, нанять прислугу, уладить хозяйственные дела... Ничего этого он не любил и не умел делать, и всё равно, несмотря на суету, на хождение то в деревню, то в поле, везде, где бы и когда бы он ни был, рисовалась ему Наташа, и он каждый раз удивлялся: сколько времени прошло, а ее место так и осталось ее. И когда они наконец через две недели переехали сюда, всё то лето, как бы лето их возвращения, он ничего не рассказывал Ирине, они только ходили, гуляли и смотрели.

Барский дом, в котором они поселились, был построен еще в середине XVIII века. Большой, с колоннами и куполообразной крышей над танцевальной залой, он к этому времени уже давно пришел в негодность и был нежилым. Два флигеля были пристроены к главному зданию лет на сто позже, их и сдавали дачникам. Дом стоял очень красиво, на высоком, но не крутом холме, у подножия которого начиналось довольно большое озеро.

С берега была видна только его часть, как бы залив, дальше неширокая горловина и то ли остров, то ли берег за ней. От колонн же главного входа и особенно с перил почти развалившейся парадной лестницы, между и поверх лип, озеро было видно всё: два острова, густо заросшие березой и осиной, с большими темными пятнами старых дубов, ближний – весной, когда сходил снег и стояла высокая вода, – делился почти посередине на две части, и считалось, что, если протока до конца июня не пересохнет, хлеб должен уродиться; дальний остров был меньше, назывался он Святым и походил на круглый и крутобокий шлем с огромной черной елью на вершине, которая издали напоминала шпиль протестантской кирхи. По преданию, на нем когда-то был скит одного из троицких монахов. Сразу от лестницы к озеру вела длинная аллея высоких прямоствольных лип, которая была заложена вместе с домом. Только одно из полутора сотен этих деревьев уродилось не таким: кора его была перевита, и ствол на высоте пяти метров круто изгибался, пересекал всю аллею, и там, на той стороне, листва его мешалась с листвой других деревьев. Кажется, липа была другого вида, и ошибившийся в саженцах садовник, как рассказывали, был повешен на этом несчастном дереве.

Метров за пятьдесят от озера, там, где спуск становился совсем пологим, аллея почти незаметно переходила в парк. Сторона была южная, липы хорошо держали тепло, и ближе к вечеру, когда после чая все выходили гулять, здесь было тихо и градусов на пять теплее, чем наверху, у дома. В середине июля, когда вода в озере прогрелась и тоже, как и липы, стала греть воздух, Шейкеман и по вечерам начал разрешать Ирине купаться в маленькой, на конце мыса, купальне. К следующему сезону был окончен ремонт второго флигеля, и владельцы сдали его тоже вдовцу, профессору Московского университета Генриху Христофоровичу Крейцвальду, поселившемуся там со своим сыном.

Профессор Крейцвальд был родом из Брауншвейга, двадцати восьми лет он навсегда переехал в Россию, перешел в православие, был женат на русской, и тоже недолго – четыре года, она умерла от туберкулеза. Уединенная жизнь в имении, внутреннее сходство и сходство судеб быстро сблизили Шейкемана и Крейцвальда, и потом они подряд в течение десяти лет друг из-за друга и из-за детей снимали на лето оба флигеля. В год их знакомства сыну Крейцвальда, Иоганну, исполнилось семнадцать, он только что окончил гимназию и готовился к поступлению в университет.

Бывал он тогда во Фряново очень редко, короткими наездами, и виделся с Ириной лишь несколько раз. И она и он помнили, что уже в конце лета, в последние дни августа, они ходили вместе за грибами, ходили очень долго, Ирина тогда совсем устала, грибов они почти не набрали, было сухо, и Иоганн, злой от неудачи и от Ирины, которую ему навязал отец, посадил ее под какое-то дерево, сказал, что вернется через час, и ушел. Сначала она плакала, но не звала его, – после матери она, кажется, не звала уже никого, потом легла и, плача, заснула. Иоганн нашел ее только через два часа, он был очень испуган, сорвал горло, аукая и крича ей, и, когда случайно наткнулся на нее спящую, поразился, как она хороша. Будить ее он не стал, сел рядом, достал папиросы и курил, пока Ирина не проснулась. Вернулись они уже на закате, в доме сильно волновались и собирались идти их искать. В то лето они, кажется, больше не виделись, но всё следующее Иоганн, отказавшись от поездки в Германию, на родину отца, безвыездно провел во Фряново, понимая, что безнадежно влюблен в Ирину. Эта неразделенная любовь длилась восемь лет и завершилась счастливо – их браком.

Брак Иоганна и Ирины был задуман двумя отцами почти сразу после их знакомства, много раз планы их должны были сорваться, всегда по вине Ирины, но к восемнадцати годам она, кажется, устала от борьбы, привыкла к ней; отказов было столько, что стало ясно, что этот брак – некая постоянная величина в ее жизни, и она сама хочет знать, от чего отказывается. Последний разрыв был всего за месяц до свадьбы, и тогда понадобилось личное вмешательство Феодосия, запретившего Ирине, как в свое время Шейкеману, уйти в монастырь. Венчались они 1 августа 1898 года, очень скромно, здесь же, во Фряново, в приходской церкви, отказались от свадебного путешествия и сразу же уехали в Москву.

Первые годы Крейцвальды жили в доме служащих завода «Гужон и К°», где Иоганн отвечал за разработку рецептуры специальных сталей. Это время было лучшим в их совместной жизни. Иоганн был на хорошем счету, очень много работал, пропадая в цехах и в лаборатории до позднего вечера, благо жили они прямо на территории завода, рядом с административным корпусом.

Ирина, много лет готовившая себя к одинокой жизни в келье, свыкшаяся с ней, став женой, неожиданно с рвением занялась хозяйством, чуть ли не раз в месяц меняла прислугу, и, хотя принимали они редко и сами почти не выезжали, у них скоро, меньше чем через год, появился свой круг знакомых. Даже то, что Ирина оказалась совсем холодной, не портило их отношений. Кажется, сначала Иоганн обвинял себя в неопытности, считал, что мучает Ирину, но потом, увидев, что она по-прежнему равна и ласкова с ним, что здесь нет никакого притворства и то, что происходит в постели, в самом деле ей безразлично, успокоился. Через полгода

он вдруг понял, что Ирина нравится ему именно такой, что ему нравится, что она осталась маленькой и ничего не понимающей девочкой, какой была в десять лет, на даче во Фряново.

Через полтора года после венчания Ирина забеременела и в самом конце 1900 года родила крупного, здорового мальчика, которого назвали в честь отца Феодосия Федором. Петр Шейкеман еще успел увидеть внука, на кладбище Троице-Сергиевой лавры сторож помог мне разыскать его могилу: на каменном кресте есть дата смерти – 12 апреля 1901 года.

Первый год брака принес удовлетворение и Ирине: она выполнила то, что хотел и о чем просил ее отец, со смирением подчинилась духовному наставнику – отцу Феодосию, сделала счастливым, а может быть, и спасла Иоганна. До брака она боялась своего тела и, когда страхи не оправдались, была рада, что осталась чиста, что то, о чем кругом говорили все, и Иоганн тоже, она ни разу не испытала. Она видела, что Иоганн считает себя виноватым, и жалела его.

В последние месяцы беременности, когда Ирина стала чаще и больше оставаться дома одна, она подвела первые итоги их жизни и решила, что в миру она, пожалуй, сделала больше добра, чем если бы ушла в монастырь. После рождения ребенка – роды были очень тяжелые, ее с трудом спасли, и потом она долго болела – отказ от монастыря всё чаще начал представляться ей жертвой и ее жизнь здесь, в миру, – служением. Иногда она сравнивала свое зачатие с непорочным зачатием Марии.

Лето после рождения сына она, несмотря на недовольство врачей, провела во Фряново. Теперь, когда отец умер, она надеялась, что что-то должно перемениться и в ее отношениях с матерью. Для этого она и ехала. Десять лет назад об этом думал Шейкеман, привезший ее сюда, на родину Наташи, на место, где родилась и она. Тогда всё осталось по-старому; теперь она, в свою очередь, привезла сюда своего сына, его внука. Она хотела тихо, одна прожить здесь лето, смотреть, как он растет, гулять. Во Фряново она взяла с собой только няньку, да раз в неделю, на воскресенье, приезжал Иоганн. С погодой ей повезло, после долгой снежной зимы лето было очень теплым (с конца июня она уже ходила купаться, поправилась, повеселела), все сделанные ей во время родов разрезы зарубцевались, и главное, почти перестали болеть почки, мучившие ее зиму и весну.

В середине августа, когда пошли дожди, она отправила Федора с нянькой в Москву и провела неделю во Фряново совсем одна, даже сама топила. Того чуда, которого она ждала от этого лета, не произошло, это была ее последняя попытка примирения и любви к матери, во Фряново она тоже никогда больше не была. 22 августа за ней приехал Иоганн, и в тот же день вечером они вернулись в Москву.

Чувствовала она себя прекрасно и даже разрешила мужу впервые после рождения ребенка остаться у нее. В ту ночь он был очень страстен, она гладила его по голове и радовалась, что ему хорошо. Под утро он стал будить ее снова, она очень устала и никак не могла проснуться, во сне она не понимала, зачем он ее будит, зачем трогает, целует и не дает спать. Когда он вошел, она, тоже в полусне, подумала, что уже скоро и что под ним хорошо – тепло. Когда-то давно, когда она была маленькая, Шейкеман каждый вечер перед сном заходил с ней проститься, часто он сидел подолгу, что-то рассказывал или просто держал ее руку, пока она не засыпала, иногда он соглашался почесать ей спину. Сейчас, во сне, она вспомнила, как вытягивалась, замирала, и его большие широкие пальцы двигались по коже. Сначала спина немела, покрывалась мурашками, но ногти всё сильнее и мягче скользили по ней, они поднимались вверх, вдоль позвонков, почти до волос, потом по шее, по плечу спускались вниз, к рукам, и около лопатки по одному, продолжая скользить, снова перебирались на спину, здесь было широко, и она не знала, куда они пойдут дальше. Ногти выпрямляли, разглаживали ее; слабея, она делилась, распадалась на части, которые оживали под его пальцами и снова замирали, когда они уходили. Теперь всё это было у нее в ступнях. Сначала она хотела, чтобы всё кончилось, потому что помнила, что она уже не маленькая и отца нет – он умер, – но когда кончилось, она испугалась, затаилась и стала ждать, где начнется снова. Потом ей приснилось, что Иоганн – ее

сын, что он растёт и зреет в ней,верху ног ей стало щекотно, щекотка была всё сильнее, она уже не могла терпеть ее, стала биться, вырываться, и вдруг большие, сильные спазмы пошли по ней вверх и вниз, она забилась под Иоганном, и, уже ничего не понимая, сжимала его и кричала. Потом в ней всё замедлилось, сошло на нет, но она еще долго, словно боясь, что то, что было, вернется, лежала, не шевелясь и не открывая глаз.

Иоганн гладил ее, целовал, что-то говорил. Она старалась дышать ровно, чтобы он подумал, что она спит, и ушел или хотя бы перестал. Потом она услышала заводской гудок, вздрогнула, потому что забыла о нем, и поняла, что Иоганну скоро пора идти, все-таки она не дождалась его ухода и заснула. Встала она уже днем и, как ни пыталась, молиться не могла. Всё, чем она жила, кончилось сегодня утром и уже было отгорожено сном. Она крутилась среди пяти-шести слов, путалась в них и никак не могла выбраться. Она плакала и жалела мать, плакала потому, что так и не простила ее, плакала, что умер отец, что Феодосий не дал ей уйти в монастырь, что теперь она как все и ничего не вернешь.

Иногда она, кажется, нащупывала выход, останавливалась и говорила Богу: «Господи, моей вины здесь нет, я этого не хотела», – и сразу же понимала, что есть, и снова плакала о матери, монастыре, отце и себе. Потом она вспомнила, что недалеко, всего в двух кварталах от них, есть маленькая церковь Николая Угодника, она уже несколько раз была в ней и знала, что в это время там совсем пусто. Она вышла из дома, шел сильный дождь, она забыла накидку, но возвращаться не стала и уже на полпути промокла насквозь. Было холодно, ее била дрожь, и она понимала, что теперь стала настоящей кающейся грешницей и что так ей будет легче молиться. В церкви она пробыла очень долго, до самого заводского гудка, кончающего смену, и, возвращаясь, в дверях, столкнулась с Иоганном. Она сказала ему, что у нее разошлись швы, что она была у врача и что вместе им можно будет быть не раньше чем через год. Иоганн плакал, целовал ее, просил прощения.

С того дня она утром, как только Иоганн уходил на завод, шла в ту же самую церковь Николая Угодника. В храме, справа от алтаря, был небольшой притвор с темной, совсем без оклада иконой, на которой дева Мария держала на руках младенца Иисуса Христа. Ей нравилось, что утром она первая зажигала у иконы свечу, что икона без оклада и есть не только лица, но и руки, ступни младенца, одежды, что по краям иконы, на клеймах, написано и «Поклонение волхвов», и «Тайная вечеря», масличная гора, храм и крепостная стена, что икона большая и свеча не может осветить ее целиком, и, когда сквозняк наклоняет пламя, видно то одно, то другое. Здесь она молилась почти до обеда, всегда одна – таким узким был притвор – и верила, что устоит. Выйдя из церкви, она каждый раз несколько минут стояла на паперти, привыкая к яркому свету, а потом, если не было дождя, шла гулять.

Обычно по одному из грязных замоскворецких переулков она выходила к реке, по которой сейчас, в конце августа, часто плыли большие баржи и пароходы. Они были выше домов, складов, пакгаузов, и их палубы и капитанские мостики, поворачивая вслед за рекой к центру города, медленно переходили с одной улицы на другую. Ей нравилось смотреть на воду, на то, как баржи, встречаясь, плавно качают друг друга, нравилось, что их гудки гуще и увереннее, чем заводские.

Все эти дни Иоганн был особенно мягок и заботлив с ней, почти каждый вечер они выезжали в театр или ресторан. В субботу, 6 сентября, они были в Большом, слушали итальянскую оперу, в театре она выпила два бокала вина, ей было хорошо, весело, она была благодарна Иоганну, любила его. Выходя из театра, она вспомнила, что Иоганн после свадьбы говорил ей, что мечтает о трех сыновьях, что она их ему обещала, теперь ей было грустно, что трех сыновей у них не будет. Дома они разошлись по своим комнатам, она разделась, легла и в постели поняла, что больше не может. Она снова вспомнила, как он сказал ей, что хочет трех сыновей, и как она ему ответила, несколько раз, чтобы не ошибиться, повторила весь разговор про себя, потом встала и теперь вслух медленно сказала: «Иоганн, у тебя будет три сына» – и, не одева-

ясь, голая, через всю квартиру пошла к нему. Всю ту ночь она провела у Иоганна, и каждый раз, когда у нее начиналось, всё быстрее, как заклятие, шептала: «Я рожу тебе трех сыновей», а потом уже, ничего, кроме этого, не помня, орала: «Трех сыновей! Трех сыновей!».

В течение месяца она освоила всё, что Иоганн мог ей дать, но, словно в равновесие за первый год брака, не могла насытиться. По пять-шесть раз за ночь по дому разносился ее крик: «Трех сыновей!» – она уже знала, что Иоганн тяготится ею, боится и стесняется ее криков, что прислуга считает, сколько сыновей она зачала за ночь, и смеется над ней, что от прислуги о трех сыновьях знает весь дом, и Иоганна знакомый инженер уже спрашивал, как он прокормит столько детей.

В начале зимы Ирина поняла, что из этого дома надо уезжать. После нескольких скандалов она добилась от Иоганна увольнения прислуги – он считал, что поведение кухарки и горничной вполне понятно, что они ни в чем не виноваты и увольнять их безнравственно, – а сами они из заводской квартиры переехали к отцу Иоганна, а потом, после месяца поисков подходящего жилья, в конце концов поселились на последнем этаже большого доходного дома на Солянке. Здесь их никто не знал, а кухаркой Ирина предусмотрительно наняла какую-то полуглухую деревенскую девку. На Солянке их жизнь, хотя они постепенно расходятся всё дальше, успокаивается.

После переезда Иоганн стал меньше бывать дома, до завода надо было добираться час, и на самом заводе нередко приходилось задерживаться почти до ночи. Карьера его пошла круто вверх, он был назначен начальником строящегося прокатного стана, самого современного в России, – будущей сердцевины всего завода. Хотя основное оборудование поставляли крупноповские заводы, дирекция компании согласилась с проектом Иоганна усовершенствовать стан и катать на нем листы стали разной толщины. Всё, что было надо для этого, делалось здесь же, на заводе, и требовало его почти постоянного присутствия. Квартира на Солянке была много меньше заводской, они не стали нанимать няньку, и Ирина сама почти весь день занималась Федором. Ожидая Иоганна (по-прежнему до его прихода она никогда не ложилась спать), думая о нем, о постели, всё время ловя себя на том, что почти до онемения сжимает ноги, она так свыклась с тремя сыновьями, что, и говоря, и играя с Федором, то и дело, забывшись, начинала рассказывать ему о будущих братьях – Коле и Сереже, – она уже давно придумала им имена. Часто Ирина путала время, получалось, что Коля и Сережа уже есть сейчас, что они сидят рядом с Федором и вторым слушают ее.

Ночи по-прежнему были для нее и Иоганна самым тяжелым. Уже ложась в постель, Ирина знала, что Иоганн устал, что он опять будет бояться ее криков, что она всё равно будет кричать, что ей снова не хватит, и завтра она встанет возбужденной, раздраженной, и что так будет весь день, до следующей ночи. Утром, когда он уходил, она часто плакала, без дела ругалась на кухарку и успокаивалась только тогда, когда Федор просыпался и она, еще сонного, брала его в постель, а потом давала вволю играть среди подушек и одеял.

Три года она не могла забеременеть. Лет через пятнадцать после рождения Федора она скажет своей подруге Татьяне Глучиной, что вспугнула своих детей, цепляясь за них днем и ночью. По рекомендации врача она пребывала у многих тогдашних московских светил, они находили, что у нее всё в порядке, что скоро она забеременеет и что единственная помеха этому ее нервы, которые вконец расстроены и которые, если она хочет, чтобы ребенок был здоров, надо лечить. По их совету она принимала разные порошки, но результата не было, и она перешла на травы. Через полгода она поняла, что беременна.

На третьем месяце она несколько раз в день стала подзывать к себе Федора, он прижимался ухом к ее животу и подолгу слушал, как там живет и двигается братик Коля. Когда она была на четвертом месяце, Федор попросил ее наклониться, закрыть глаза, открыть рот и сам – она ничего ему не подсказывала – закричал туда: «Миленький, ты слышишь меня? Я тебя люблю». Ирина тогда ждала, что он даст ей подаренную утром конфету, а когда поняла, что

случилось, в восторге стала обнимать его, целовать. Всё это было прощением ей: и то, что она забеременела, и то, что у нее такой добрый сын, и то, что она его таким воспитала. Кажется, впервые за время их брака она позвонила Иоганну на завод, насилу дождалась, пока его найдут и позовут к телефону, стала рассказывать, потом неизвестно почему расплакалась, говорить уже ничего не могла, и только когда он сказал, что сегодня приедет рано, а сейчас – всё, пора кончать, повесила трубку.

Вернулся он действительно рано, они вместе сели обедать, она отпустила кухарку и подавала сама. Ей было необыкновенно приятно кормить его, то, что она сама ему прислуживает и он ест как бы из ее рук, ждет, когда она нальет ему супа, положит сметану. Она понимала, что опять любит Иоганна, что счастлива, что именно от него у нее будет три сына. Она думала: как хорошо, что он женился именно на ней, что она послушалась отца Феодосия и своего отца и дала согласие, – теперь ей страшно было подумать, что было бы, если бы тогда она отказала. Хорошо было и то, что он долго любил ее еще до этого согласия и всегда хотел, чтобы именно она родила ему трех сыновей.

После обеда они пошли в детскую, и Федор, как она и мечтала, забрался к ней на колени, опять потребовал закрыть глаза и открыть рот и снова, как утром, кричал в нее: «Миленький, я люблю тебя, слышишь?» Иоганн был тоже растроган, взял ребенка к себе и весь вечер до сна одну за другой рассказывал ему сказки. С утра у нее впервые, как после родов, болел живот, и потом, когда они уложили Федора и он заснул, она сказала Иоганну, что боится всяких неприятностей и сегодня к нему не придет. Потом, уже лежа в постели, когда от пузыря со льдом боль постепенно стала уходить, она снова поняла, что любит Иоганна, что хорошо, что до родов спать вместе они уже больше не будут, что срок испытания ее кончился, она очищена и они с Иоганном опять такие, какими были четыре года назад.

Через два месяца, когда боли у нее еще усилились и она почти не вставала с постели, их домашний врач, доктор Кравец, пригласил на консультацию гинеколога, и тот после краткого осмотра сказал, что у нее обширное запущенное воспаление матки и она не беременна. С того дня их отношения с Иоганном прерываются. Они редко видятся, еще реже разговаривают и совсем не вступают в жизнь друг друга. Федор остается на ней, это ее часть. Почти всё время Ирина проводит с ним. Сначала она собирается сказать ему, что у него не будет братика, но боится и не может подобрать слов.

Первый раз после болезни выйдя из дома, она покупает в магазине на Арбате пять больших взрослых кукол и одного ребенка. Это – ее мать Наташа, Шейкеман, отец Феодосий, Иоганн и она, ребенок – Федор. День за днем куклы повторяют ее жизнь. В противоположном от окна углу детской Ирина строит из кубиков большой красивый монастырь. Четыре взрослые куклы не пускают куклу Ирину туда. Федор – судья. Она боится, что он осудит ее. Он смотрит на кукол, слушает, что они говорят, но сам никогда до них не дотрагивается. Сначала есть только пять кукол, потом, когда у Ирины рождается сын, появляется маленькая – шестая. Федор понимает, что это он. На следующее утро после дня его рождения она не находит больших кукол, а ее кукла и маленькая, шестая, сидят внутри монастыря, прислонившись к церкви.

Через три месяца она говорит Федору, что его брат Коля родился. Теперь они всегда вместе, он играет с ними, ест, спит, гуляет. Два года спустя воспаление у Ирины повторяется, и, хотя на этот раз диагноз поставлен сразу, она считает, что снова беременна, и через девять месяцев в доме появляется ее третий сын – Сережа.

Федор добрый мальчик, он любит мать так же, как когда-то Ирина любила своего отца, он откликается, когда Ирина зовет Колю или Сережу, легко запоминает, когда она рассказывает, что и как они делают, и безошибочно всё повторяет. Ганнушкин, как-то зашедший по просьбе Ирины к ним домой, целый час наблюдал эту игру. В тот же день он заехал вечером, долго разговаривал с Иоганном и Ириной, предупреждал, что они погубят ребенка, потому что вся его нервность и экзальтация связаны именно с этими играми и их немедленно надо прекра-

тить. Когда Ганнушкин уехал, Иоганн впервые кричал на нее, грозил, что разведется и заберет ребенка. Она была сильно испугана, дрожала. Иоганна уже давно – кажется, с их первой настоящей ночи, – она боялась, и была уверена, что он сдержит слово и заберет у нее Федора.

Еще больше Ирина боится, что с Федором уйдут его братья – Коля и Сережа. Чтобы удержать их, она готова на всё. На Федоре она ставит крест. Теперь она играет и разговаривает только с Колей и Сережей. Федора она почти не зовет. Он льнет к матери, старается всё время быть ближе к ней, – а она гонит его к Иоганну, а рядом сажает Колю и Сережу. Через день он уже знает, что его будут целовать, пустят повозиться в постели, только когда он Коля или Сережа. Он ревнует братьев, потом начинает их ненавидеть. Но без Ирины он не может жить ни минуты, ему всё время нужна ее ласка. Чтобы она занялась им, он уже без ее давления чаще и чаще говорит и ведет себя как Коля и Сережа. Особенно ей нравится смотреть, как ковыляет только что научившийся ходить Сережа, и Федор раз за разом повторяет его. Потом он всю жизнь будет помнить и презирать себя за это.

Месяца через полтора после того, как у нее кончилось первое воспаление, или, как сама Ирина считала, после рождения Коли, она с Татьяной Глучиной, своей знакомой еще по Сергиеву Посаду, начинает посещать собрания мистиков и спиритов. Скоро она становится одной из самых известных оккультисток тех лет. Свидетельство этому ее обширная – больше ста посланий – переписка с Блаватской. На сеансах она разговаривает с Колей и Сережей, ее связь с ними крепнет, и Федор отдаляется всё дальше. Тогда же у нее появляются первые любовники, и она перестает жить с Иоганном.

Разговор с Ганнушкиным не имел для Ирины никаких последствий. Иоганн, как и раньше, весь день проводил на заводе, а теперь всё чаще не ночевал дома. Страх лишиться детей проходит, и отношение Ирины к ним становится более разумным. Она начинает уделять больше внимания старшему – Федору, хотя по-прежнему холодна с ним. Федор перестает чувствовать себя изгоем, но дети не сближаются, а, напротив, расходятся всё дальше, у них совершенно разные характеры, разные интересы, с каждым годом сильнее дает себя знать и разница в возрасте: Федор уже ходит в гимназию и считает себя взрослым. Хотя все они влюблены в нее, отсутствие близости между братьями огорчает Ирину.

Так они доживают до семнадцатого года. После февральского переворота выясняется, что Иоганн еще в 1905 году стал членом РСДРП и все эти годы активно поддерживал большевиков. Летом он избирается депутатом Учредительного собрания от московского промышленного района и фактически руководит заводом Гужона. Тем же летом Федор с отличием кончает гимназию и осенью поступает в Московское высшее техническое училище. Он явно идет по стопам отца и хочет быть металлургом. Гражданская война раскидывает семью в разные стороны и впервые разъединяет детей. Иоганна назначают директором Путиловского завода, и он берет Федора с собой в Петроград. Ирина с младшим – Сережей – застревает на Северном Кавказе, в Кисловодске. Средний, Коля, учится в Москве, в школе-коммуне Лепешинского.

В двадцать первом году вся семья опять соединяется в Москве. Братья выросли и стали совсем чужие друг другу. Всё, что у них общее, – совсем одинаково, остальное только разъединяет их. Тогда же Ирине удается окончательно утвердить то, что началось семнадцать лет назад. Пользуясь неразберихой послереволюционных лет и связями Иоганна, она выправляет детям три разные метрики. После возвращения Крейцвальдов в Москву с ними поселяется двадцатилетний оболтус (так он сам себя характеризовал) Александр Крауг, сын любимого университетского учителя Иоганна, профессора Крауга. Александр Крауг был последним любовником Ирины и, кажется, единственным человеком, который знал и дружил со всеми тремя братьями. Он сообщил мне множество ценнейших фактов, но значительная часть того, что он говорил, оказалась ложью.

От Александра Крауга я знаю, что он жил у Крейцвальдов до 1 марта двадцать четвертого года – дня смерти Ирины. Умерла она от инфлюэнцы, и осенью того же года также от инфлю-



энцы умер и Иоганн. Оба они похоронены на Немецком кладбище в самом начале кленовой аллеи. Крауг утверждал, что Иоганн знал о его связи с Ириной и нисколько не был этим недоволен. После возвращения в Москву он стал сильно сдавать и побаивался энергии Ирины. Хотя разница между супругами была меньше восьми лет, Ирина скорее походила на дочку Иоганна. Выглядела она прекрасно и умерла совершенно неожиданно для всех. Сыновей своих Иоганн любил, относился к ним ровно и никогда не отказывал в помощи. По словам Крауга, предусмотрительность Ирины, оформившей детям разные документы, оказалась далеко не лишней, и только благодаря ей после смерти Иоганна им удалось целиком сохранить свою старую квартиру на Солянке.

Через два года после смерти родителей Федор женился на какой-то девке, которая много лет проработала в ЧК, отсюда ее выгнали, год она скиталась неизвестно где, зарабатывала, подцепляя на кладбищах недавних вдовцов, потом познакомилась с одним из Крейцвальдов, кажется со старшим, Федором, но спала со всеми тремя братьями. Как сказал Крауг, выбирала. Потом не без помощи ее друзей из ЧК-ОГПУ два младших брата исчезли, а она вышла замуж за Федора и стала хозяйкой квартиры. Всё это ложь, и мне особенно жалко, что так же относились к жене Федора – Наталье Коновицкой – и прочие родственники Крейцвальдов. Мне удалось разыскать братьев Натальи и ее 93-летнюю мать, которая сейчас живет в Ессентуках, они добросовестно рассказали мне всё, о чем я их спрашивал, и теперь мой долг – восстановить доброе имя Натальи.

Со стороны отца Наташа, или по-полному Наталья Дмитриевна Коновицына, принадлежала к очень старому роду. Ее предки есть уже в Бархатной книге царевны Софьи, куда, как известно, были вписаны только самые родовитые дворянские фамилии. Дед ее вышел в отставку в чине генерала от инфантерии, бабка была фрейлиной императорского двора при Александре III. Их единственный сын Дмитрий тоже пошел по военной части, но уже в тридцать лет, едва дослужившись до майора, был вынужден из-за дуэли покинуть полк. История была темной. В Военно-историческом архиве я нашел рапорт командира полка об этой дуэли, но и сейчас, когда я знаю обстоятельства дела, мне трудно сказать, кто из них двоих был больше не прав: Дмитрий Коновицын или убитый им, тоже майор, Николай Дроздов. Через год после этой дуэли Дмитрий Коновицын женился на дочери разорившегося текстильного фабриканта Елене Валовой – одной из первых тогдашних красавиц, будущей матери Наташи. Он был очень ревнив, и мать еще лет за пять до революции ушла от него, забрав с собой Наталью и ее младшего брата Сергея; их старший сын, как и дед – Андрей, остался с отцом.

Крестный Сергея был владелец большого конного завода под Екатеринославом, он очень любил мать Наташи и после развода много ей помогал. Каждое лето они месяц или два проводили в его имении рядом с заводом. Там и Наташа, и ее брат страстно полюбили лошадей, и потом, много позже, в тридцатых годах, Сергей стал одним из самых знаменитых московских жокеев. Те, кто часто посещал бега в то время, наверняка помнят его под прозвищем Мальчик-с-пальчик.

После революции крестный лишился своего конного завода и помогать матери деньгами уже не мог. По рекомендации Буденного, ценившего его знание лошадей, крестного взяли заведовать конюшней московского ипподрома, и он посоветовал матери Наташи устроиться к ним в контору машинисткой. Она послушалась, но пальцы у нее оказались такие нежные, что при печатании из-под ногтей сочилась кровь, в конце концов ей пришлось отказаться от места и уйти. Жили они тогда очень тяжело, почти впроголодь. Когда нэп утвердился, всё наладилось, мать быстро выучилась на маникюршу и массажистку и зарабатывала в ту пору очень хорошо, у нее был свой салон, своя клиентура, пара гнедых лошадей, которую подобрал её крестный, удобная квартира на Арбате в доме со швейцаром.

Потом она вновь вышла замуж за крупного инженера-артиллериста, перестала работать, сдала в аренду, а через два года и вовсе продала салон. Дом они поставили на широкую ногу,

ходили в рестораны, почти каждый день приглашали гостей. На одной из их вечеринок мать познакомилась и влюбилась в приятеля мужа, тоже инженера, и ушла к нему. Мать любила рассказывать, что жена этого приятеля никак не могла простить ей, что она увела у нее мужа, безумно ревновала и хотела облить серной кислотой. Они тогда сидели в квартире, как в осаде. Горничная знала, что она должна открывать дверь только на цепочку и обязательно спрашивать – кто и зачем. До матери эта женщина добраться так и не сумела, а своего бывшего мужа искалечила. Она подстерегла его, когда он шел на работу, достала из сумочки пистолет и выстрелила. Пуля прошла всего в двух сантиметрах от сердца. Умер он или нет, мать точно не знала: в тот же день она уехала на юг, в Крым, и больше никогда с ним не виделась. Кажется, он все-таки выжил и даже вернулся в свою старую семью, к жене, которая, ранив его, потом много месяцев самоотверженно выхаживала.

В то время, когда мать спасалась в Крыму, ее второй муж посватался к Наташе. Еще когда они жили с матерью, он иногда залавливал ее в коридоре и целовал, потом из-за разводных дел они несколько месяцев не виделись, а тут, дня через три после отъезда матери, он позвонил, сказал, что очень скучает без Наташи, что знает всё про их дела и ждет в гости к своей сестре. Наташа думала, что у него будет вечеринка, и поехала. Вошла – а там никого, только накрыт стол на двоих, стоят приборы и в ведерке со льдом две бутылки шампанского. Наталья потом рассказывала матери, что, когда он ее посадил на колени, у нее и в мыслях ничего не было – всё равно как отец, а он поцеловал ее в губы и говорит: «Наташа, я тебя давно люблю. Когда мама вернется, я с ней поговорю, она против не будет». Наташа тогда сказала ему, что через месяц выходит замуж, и он отпустил ее.

За год до этой истории она познакомилась с греческим послом, который ухаживал за ее подругой. На один из приемов та взяла с собой Наташу, посол увидел ее, влюбился и бросил подругу. Почти каждый день они катались по Измайловскому парку или за городом на его шикарной американской машине, кажется, это был «кадиллак», потом возвращались в посольство, и там, в его кабинете, на столе их уже ждали две хрустальные чаши с черным и зеленым виноградом, а рядом третья – с водой, окунать ягоды. Посол очень интересовался патриархом Никоном, и один раз они ездили совсем далеко, в Новоиерусалимскую лавру. Купались в Иордане, как раньше называлась Истра, объездили все окрестные деревни: и Назарет, и Вифлеем, и Тивериаду. До шестнадцати лет он жил в Палестине, где его отец возглавлял греческую православную консисторию, и теперь всю обратную дорогу рассказывал ей о земной жизни Спасителя, о Палестине, о Иерусалиме, о том, как выглядят по-настоящему Назарет и Вифлеем. В тот же день вечером он, зная, что Наташе скоро исполнится семнадцать лет, подарил ей на день рождения прелестные лайковые туфельки с тонкой золотой отделкой, самые красивые из всех, какие у нее когда-либо были.

Недели через две после той поездки, когда Наташа, как всегда поздно, вернулась домой со свидания, мать сказала ей: «Днем приезжал офицер из ГПУ, спрашивал тебя, куда ты ушла и вообще чем занимаешься. Я ответила, что ничего не знаю, что ты будешь нескоро, если вообще придешь домой ночевать». Наташа испугалась не знаю как, мать тоже была очень напугана, умоляла ее расстаться с греком, уехать хотя бы на время из Москвы, пока дело не уляжется и про нее не забудут.

Уехать Наташа не решилась и стала прятаться. Мать скрывала ее в своем салоне, в маленькой темной комнатушке, где когда-то спал швейцар. Через неделю офицер приходил снова, опять не застал ее и оставил бумагу, в которой значилось, что Наташа должна явиться к нему на Лубянку завтра в одиннадцать часов утра. Как только он ушел, мать сразу же побежала к ней, рассказала, и они вдвоем, сидя в Наташином убежище, проревели всю ночь. Утром мать сказала ей: «Что ж делать, Наташа, иди, а то всё равно хуже будет», – собрала ей смену белья в узелок, и Наташа пошла.

Следователь, что ее вызвал, встретил Наташу очень любезно, сказал: «Вам нечего бояться, мы ничего от вас не хотим. Просто этот ваш посол подозревается в шпионаже, и нам надо знать, где и когда вы встречались, куда ездили и всё такое».

Наташа ответила, что ничего между ними особенного не было: катались несколько раз на машине и туфельки он ей подарил на день рождения, они, кстати, оказались малы, и она их вернула (это было неправдой). Ее поблагодарили за помощь, а через два дня позвонили снова и предложили работать у них секретаршей. Наташа тогда как раз искала работу и согласилась. Печатать она научилась у матери еще несколько лет назад, и ей нравилось это дело. Грека через месяц выслали, он действительно оказался шпионом.

В ОГПУ Наташа проработала полтора года, пока не вышла замуж. Она оказалась очень хорошей машинисткой – и грамотной, и старательной, все любили ее и ласково звали «Золотые ручки». В ОГПУ за ней многие ухаживали. Была она молоденькой, хорошенькой, с чудным цветом лица – всегда румянец во всю щеку, не выпалась ли, плакала ли – ничего не смывало.

Ей чекисты тоже нравились. Наташа рассказывала матери, что многие были прямо красавцы: высокие, стройные – как белогвардейские офицеры. Но вышла замуж она не за молодого чекиста, а за человека, который был ее старше на двадцать лет.

Однажды ее вызвал к себе в кабинет заместитель Дзержинского, начальник следственного отдела ОГПУ Николай Иванович Старолинский. Сначала она очень удивилась, а в кабинете уже всё поняла. Через три месяца они поженились, и она с ним была очень счастлива, хотя брак их был совсем недолгим – меньше двух лет. В самом начале двадцать четвертого года он умер от крупозного воспаления легких.

Жили они дружно и весело, почти каждый день в доме были гости. На их четверги часто заходили Брюсов, Маяковский, Бабель, Брики, иногда они приводили с собой кого-нибудь из молодых, и тогда перед ужином устраивались импровизированные читки, обычно стихи, реже проза. Слушали очень благожелательно, старались поддержать, и кое-кому из молодых Старолинский потом помогал и с печатанием, и с жильем. Он очень гордился тем, что его дом известен в Москве как литературный салон.

Было время, когда и сам Николай Иванович примыкал к символистам, дружил и подражал Андрею Белому, был участником многих встреч в знаменитой башне Вячеслава Иванова. В девятом году, незадолго до того, как перешел на нелегальное положение, он закончил первую часть большого романа, которая так и не была опубликована; ее читали все завсегдаи дома, и, хотя самому Николаю Ивановичу она теперь казалась наивной, Брюсов считал, что ее надо опубликовать, и что если бы она вышла тогда, когда была написана – пятнадцать лет назад, – наши сегодняшние представления о прозе символистов во многом бы изменились. Он искренне жалел, что Николай Иванович ушел из литературы и больше не пишет.

Одна Наташа знала, что Николай Иванович продолжает писать. Делал он это только на работе, в своем кабинете, и тогда возвращался глубокой ночью. Домой он никогда не приносил ни одной страницы, хотя Наташа много раз предлагала ему перепечатать текст, она сама часто скучала без лубянской суety и коловращения, без того, что все спешат и всем срочно, без своей машинки, но он всегда отказывался, целовал ей руки, говорил, чтобы о машинке она забыла и лучше он споет ей арию Риголетто (у него был хороший баритон). Уже потом, после смерти Николая Ивановича, к ней несколько раз заходили его сослуживцы, забрали все бумаги, много раз под разными предлогами спрашивали ее об этой рукописи, и Наташа была благодарна мужу, что ни разу не видела ее и легко может сказать, что даже не знает, о чем речь.

Тем не менее Николай Иванович дважды говорил с ней об этой работе, оба раза немного выпив (вообще же он почти не пил) и раззадоренный чужим чтением. Ему тоже хотелось почтить свое, и было видно, как тяжело год за годом писать в стол, в сейф, никому ничего не говоря, не читая, не показывая. Каждый раз всё было коротко, сумбурно, и она запомнила немного. Первый разговор был почти сразу после их женитьбы. Гости разошлись, она убралась, легла,

уже засыпала, когда он вошел в ее комнату, поцеловал и сел рядом. Она видела, что он хочет о чем-то с ней поговорить и не знает, с чего начать. Она поняла, что должна помочь ему, и неизвестно почему спросила про революцию. Он задержался, но ответил. Наташа из-за этой «революции» потом всю жизнь считала себя дурой – она была уверена, что он приходил тогда совершенно с другим, но говорить не решался, и был рад и благодарен ей, когда она указала ему выход.

«Может быть, ты права, Ната, – сказал он, – начать надо с революции. Как получилась эта революция, кем она сделана – никому не известно. Реально ее никто не ждал и почти никто не хотел. Правда, было много людей, которые по многу раз ее предсказывали, долгие годы пророчествовали о ней, может быть, они испугались, что останутся лжепророками и, как Иона у стен Ниневии, воззвали к Господу: почему он не разрушил еще града сего? После революции осталось совсем мало таких, кто был за нее или против. Все остальные – серая масса, ничего не понимающая и ничего не хотящая, болото, которое засасывало и топило революцию. Из тех, кто звал ее, большинство тоже отошло, их пророчество оправдалось, и они, как и это болото, ничего больше не хотели. Даже мечтавшие о революции мало что в ней понимали и тыкались в разные стороны. Правда, мы всегда знали, кто сегодня наш враг, а кто друг, кто с нами, кто против нас, и от этого шли. Мы надеялись, что гражданская война раскачает болото и определит всех, но таких оказалось немного, да и то я боюсь, что пройдет еще два-три года, и всё опять уляжется».

Потом он начал рассказывать ей, как ездил курьером между Стокгольмом и Петербургом, как один раз его сцапали, судили, но с этапа он бежал – было это в январе семнадцатого года, – снова вернулся вспять и заговорил о своем первом романе:

«Понимаешь, Ната, литература – это такая вещь... у писателя нет материнского инстинкта, он рождает человека, растит их, потом судит и сам приводит приговор в исполнение. Те, кого из рожденных им он любит больше других, почти всегда гибнут. Сейчас мы хотим использовать это качество литературы. Литература должна помочь нам. Она будет писать только тех, кто точно и твердо знает, что надо, те, кто против, останутся как фон, а всё болото, все остальные должны исчезнуть. Они должны исчезнуть навсегда, навечно, исчезнуть так, чтобы о них ничего не знали ни дети их, ни внуки, даже то, что они вообще были. Они должны сгинуть, как сгинули и растворились бесписьменные печенег и половцы».

Второй раз он заговорил с ней об этом больше чем через год, тоже в их обычный четверг, когда Брюсов, особенно много льстивший ему весь вечер, ушел – и они остались в столовой одни. Николай Иванович сказал ей:

«Их жалко, они бесконечно завидуют Менжинскому, мне, Брику, что мы вовремя ушли от фантомов, мистики, идей, от всего: и от символизма, и от футуризма – в реальный мир. Они преклоняются перед нашим миром, потому что у нас всё подлинно: и страх, и предательство, и страдание, и самое главное – смерть. Они знают, что мы вот этими руками пишем романы из живых людей, романы, в которых всё настоящее, а им никогда даже не приблизиться к этому. Агранов не понимает их. Он до сих пор уверен, что они льнут к нам потому, что мы власть и нас боятся, потому что надеются, что, если попадут к нам, мы их по старой памяти не расстреляем. Или они нас хорошо изучат, а потом переиграют и обманут – опять же вывернутся. Он вчера ко мне снова зашел и говорит: “Ты их хоть раз не домой, а сюда, в кабинет, пригласи, и тебе и Наташе хлопот меньше, и если потом соблаговолишь их отпустить, они не за чай благодарить, а всю жизнь на тебя молиться будут”. Зря он так, конечно.

Знаешь, Ната, я уже лет пять как по-новому стал понимать нашу работу. Мне и самому еще далеко не всё ясно, а другим рассказывать тем более рано. Недели две назад вызвал я своих ближайших сотрудников, начал, а через минуту вижу – говорю плохо, нечетко, мну слова, я и оборвал, на текучку свел. Написано уже много, а конца не видно. Даже названия толком нет. Наверное, будет что-то близкое к “Поэтике допроса”. Год назад я тебе говорил, что в эту

революцию должна сделать литература, кто в ней погибнет страшнее всего, навсегда. Так вот: мы, чекисты, спасаем их. Все те, кто пройдет через наши руки, спасутся. Мы воскресим даже многих из уже погибших.

Год назад я добился новых папок для дел. На них надпись: «Хранить вечно». Подозреваемые боятся их как огня. Они уверены, что из-за этой надписи мы, как в аду, будем расстреливать их изо дня в день до скончания века. Какая чушь! Так они обречены, а эта надпись сохранит их, не даст сгинуть.

Вот ко мне ввели подозреваемого. Я пишу номер дела, его фамилию, открываю папку и начинаю допрос. У меня уже есть версия. Но если я вижу, что она не подходит к обвиняемому, я легко отказываюсь от нее. Я говорю с ним каждый день и с каждым днем всё лучше понимаю его, всё легче подбираю ему связи, контакты, сообщников, наконец, то, что он совершил. Он никому не верит, ничего не понимает, всего боится. Он пытается объяснить мне, что ничего не смыслит ни в революции, ни в контрреволюции, что всегда хотел только спастись, спрятаться, переждать, что больше ничего не делал, что это не преступление. Я слушаю его голос, самый темп речи, смотрю на его глаза, руки, он становится мне всё яснее, всё ближе, и я уже легко нахожу самое трудное – детали. Тут важна каждая мелочь: и место, и обстановка, и погода, и время. Разные люди по-разному ведут себя утром и вечером. Детали соединяют картину, делают ее живой. Если они подлинны, она сама начинает говорить с тобой. И вот приходит момент, когда обвиняемый понимает, что я прав, что это он и есть, что я, как отец, породил и создал его, и он сознаётся, что это он. Тогда наступает самое главное, то, для чего шла вся работа. Этот обычный человек начинает с блеском и талантом рассказывать о себе. Страха уже нет. Он говорит и говорит, он захлебывается и не может остановиться. Я пишу и с трудом успеваю за ним. Он рассказывает мне поразительные вещи, вещи, о которых я, создавший его, и не подозревал. Когда я писал свой роман, то знал – лучшие куски не те, что я лучше придумал и потом записал, а те, где, когда я писал, для меня всё было новым, где я уже создал своих героев, они живые, и думают, и живут сами. Здесь то же самое. Пойми, разве нам нужен суд? Есть только я и он».

Через месяц после этого разговора, день в день – она помнила это точно – он заболел и слег с тяжелейшим воспалением легких. Последние дни болезни Николая Ивановича Наташа безотлучно находилась при нем. И от врачей, и сама она уже знала, что ему не встать. За два дня до смерти температура неожиданно спала и он последний раз пришел в сознание. Она села у изголовья, взяла его руку, и он сказал: «Наташа, запомни, когда я умру, я буду тебе помогать. Если тебе что-то понадобится, приходи на мою могилу и проси – я помогу тебе».

После смерти Николая Ивановича Наташа жила очень плохо, много плакала и почти не выходила из дома. Она не могла найти никакой работы, за несколько месяцев распродала и проела всё, что у них было, и осталась совсем без денег, одна, в большой пустой квартире. С квартирой тоже всё было неладно. Еще осенью ей сказали, что она ведомственная, что она нужна другому заместителю Дзержинского и в конце года Наташу выселят. Тогда она решилась обратиться к мужу. Собралась, купила на рынке на последние деньги большой букет хризантем, его любимых цветов, и поехала на кладбище.

Было холодно, она дрожала, никак не могла начать. Сделала всё нужное и ненужное, поставила в банку хризантемы, окопала цветы на могиле, полила их, хотя было и так мокро, долго сидела на лавочке. Наконец, когда надо было уже возвращаться, попросила его помочь с работой, испугалась, покраснела и быстро ушла. Дома Наташа долго ругала себя, плакала и не могла заснуть. На следующее утро ее разбудил телефонный звонок из Наркомата путей сообщения: предлагали за хорошую плату вести у них курсы машинописи. В общем, с работой у нее всё наладилось.

Прошел почти год после смерти Николая Ивановича, когда Наташа поняла, что жить одна, без мужчины, она больше не может. Она снова поехала на кладбище, дала сторожу денег,

чтобы он заново покрасил ограду, не спеша привела в порядок могилу, села на лавочку и сказала: «Николай Иванович, тяжело мне одной. Ты уж не обижайся, а помоги мне найти кого-нибудь...» Когда она возвращалась домой, в трамвае с ней заговорил видный, красивый инженер. Это был Федор Иоганнович Крейц-вальд. Через месяц после их первой встречи ее выселили из старой квартиры, и она окончательно переехала жить к нему.

В течение следующего года Наташа по очереди была женой всех трех братьев. Меньше всего – месяц – Федора, который привел ее в дом, больше всего – второго брата, Николая. Уйдя к другому, она продолжала, как и раньше, заботиться о своем прежнем муже, обстирывала, кормила его. Безусловное право на это – единственное условие, которое она ставила новому. Того, кого она бросила, она ревновала едва ли не больше, чем того, с кем жила. Малейшие подозрения на роман (всегда совершенно беспочвенные) вызывали у нее безумную ярость, которая кончалась апатией и депрессией. Много раз она спрашивала себя, почему ревнует, почему уходит от одного к другому, и ничего не могла сказать. Попытки сближения между братьями тоже вызывали у нее раздражение. Ей казалось, что это свидетельство недостаточной любви к ней самой.

К началу двадцать шестого года Наташа снова замужем за Федором, а Николая и Сергея уже нет. Сейчас, когда с тех пор, как их не стало, минуло почти пятьдесят лет, я пытаюсь понять, что же тогда произошло в их доме. В свое время Ирина, мать Федора, Николая и Сергея, не сумела родить мужу трех сыновей. Она воспользовалась любовью к ней старшего сына и из прихоти растроила его. Наташа поселяется в их квартире и переходит от одного брата к другому. Она переходит из комнаты в комнату, ничего не забирая с собой, и почти ничего не меняется в ее жизни. Всех братьев она любит и продолжает любить того, от кого ушла. Разводы ее заключаются только в переезде из комнаты в комнату. На тот вопрос, почему она уходила к другому, мы теперь знаем ответ. Она любит их всех, и все они влюблены в нее. Ни до, ни после нее ни у кого из них не было в жизни любимой женщины. Значит, несмотря на всё их несходство, они и она были задуманы друг для друга. Любовь к ней вытесняет в них любовь к матери. Она становится главным, подминает под себя все их особенности, все их различия, и они с каждым днем начинают всё больше сближаться, всё больше походить друг на друга. Когда-то любовь к матери разделила их, теперь любовь к ней сводит их и соединяет. Любя их всех, она начинает восстанавливать Федора. Она лепит его, отбрасывая в нем и в его братьях всё, что не созвучно ей, не создано для нее и, значит, случайно. Соединяя их, она готовит Николая и Сергея к смерти, к возвращению и растворению в Федоре. Жизнь, начавшаяся в их матери, кончается в ней и через нее.

Потом, когда ее работа была закончена и она вернулась к старшему брату, Федору, в два года, пока она еще хорошо помнила младших – Николая и Сергея, она рождает ему двух сыновей – тоже Николая и Сергея. Это они и есть. Это те сыновья, которых не сумела родить Ирина. На Федора они не похожи. Только через восемь лет, в 1936 году, за год до их ареста, она родит Федору третьего сына, тоже, как и он, Федора, но он так и не узнаёт, что этот сын повторит его.

Лето тридцать седьмого года было очень жарким. В начале июля Наташа отправила годовалого Федора-маленького (так его звали в семье) с нянькой на дачу в Кусково, к своему двоюродному брату, и впервые за несколько лет она и Федор остались в квартире одни. У брата не было детей, и его жена Марина много раз предлагала, чтобы Федор-маленький жил летом у них. Наташа знала, что ребенку там будет хорошо: дача большая и, главное, теплая, вокруг прекрасный лес, деревенское молоко, на субботу и воскресенье, чтобы повидать ребенка и дать Марине и няньке отдохнуть, она будет сама приезжать в Кусково. Старшие дети, Николай и Сергей, тоже устроены, они сами захотели остаться на второй срок в пионерском лагере; кажется, лагерь неплохой и они не очень скучают. Вдвоем с Федором ей хорошо. Ната знает, что, родив трех сыновей, она сделала то, что должна была сделать, знает то, чего не знает Федор-старший: Федор-маленький будет как две капли воды похож на отца.

В пятницу, 17 июля, рано утром Федор и она были арестованы. Своих детей они больше никогда не видели. Наташа умерла в зиму сорок первого в женском лагере в Мордовии, уже кончая свой пятилетний срок. Федор выжил. Он отсидел больше восемнадцати лет и освобожден был в начале пятидесят шестого года. Сразу после освобождения он поехал в Москву. Здесь он узнал, что его жена умерла, что старший сын Николай пропал без вести в сорок третьем году в боях под Харьковом, второй сын, Сергей, тоже пропал без вести, когда поезд, который вез на восток весь их смоленский спецдетдом, попал под бомбежку в Волоколамске. Федор-маленький был жив, но Федор-старший не помнил сына и знал, что и тот не может помнить его. Федору-маленькому было уже девятнадцать лет. Брат Наташи, который воспитывал его, не знал, что Федор-старший выживет, и еще много лет назад усыновил Федора-маленького. Тот считал его своим настоящим отцом, и Федор понял, что всё так и должно оставаться.

На «семерке» – трамвае, в котором он когда-то познакомился с Натой, – Федор доехал до Немецкого кладбища. Был будний день, и на кладбище было пусто. Со сторожем он с трудом разыскал могилу матери и отца, много лет сюда никто не приходил, и вся она заросла высокой, почти в рост, крапивой. Он дал сторожу деньги, чтобы привести могилу в порядок, заново покрасить ограду и приписать на доске, под именами родителей, имя, фамилию и годы жизни жены. Сначала он хотел приписать имена старших сыновей, Николая и Сергея, но потом раздумал: все-таки не погибли, а пропали без вести. В тот же день вечером он уехал обратно на север.

Через Владивосток, Магадан и Пенжинскую губу он вернулся назад, в поселок Каменское, в тридцати километрах от которого находился молибденовый рудник, и там, при руднике, его последний лагерь. Сначала он думал устроиться на рудник инженером, жил там, но, хотя инженеров не хватало, дело с его оформлением затянулось, в конце концов он плюнул на всё и вернулся в Каменское.

Недалеко от Каменского, прямо на берегу губы, среди невысоких сопот стояли два десятка чумов и короткая улица новых бревенчатых изб. Это была центральная усадьба большого корякского оленеводческого колхоза «Заветы Ильича», сюда он и устроился на работу. Взяли его главным бухгалтером. Председателем этого колхоза была еще не старая бойкая корячка Тэна, через год женившаяся на себе.

Колхоз Тэны гремел на всю страну и соревновался с другим, не менее известным, – полтавским колхозом имени Григория Котовского. Уже давно, с первых послевоенных лет, Тэна была депутатом, последние годы по месяцу и больше жила в Москве и для корячки хорошо знала Россию. Раньше с «Григорием Котовским» они соревновались заочно, но в год приезда Федора Тэна после депутатской сессии в Москве отправилась подводить итоги соревнования в Полтаву. Принимали ее там очень торжественно, возили по всей области, всё показали, и в последний день выступивший на митинге председатель «Котовского» сказал: «Мы мечтаем о том, чтобы корякские мальчики и девочки, дети потомственных оленеводов, попили бы настоящего парного украинского молока, и по решению общего собрания колхоза мы дарим “Заветам Ильича” двух наших лучших дойных коров».

После Полтавы Тэна была еще раз в Москве, потом в Архангельске и только в ноябре вернулась домой. Через восемь месяцев после Тэны, в начале следующей навигации, пароход «Маршал Конев» выгрузил в устье Пенжины две большие деревянные клетки с коровами.

От этих коров у всех были только неприятности. Одна корова так и не смогла привыкнуть к местному климату и к ягелю, которым ее кормили, и почти сразу околела. Другая, со сломанным рогом и обмороженными еще в дороге сосцами, выжила. О коровах, Машке и Красавке, еще когда Тэна была в Москве, много писали в центральных газетах, они стали символом интернациональной дружбы, и Тэна очень боялась, что и вторая – Красавка – подохнет. Тэна почему-то была твердо уверена, что погибла именно Машка.

Берегли Красавку как могли, из области всё время интересовались этими коровами и даже спустили «Заветам Ильича» план по коровьему молоку. Тут ничего сложного не было. Сдавали его, по совету Крейцвальда, разбавляя жирное оленьё молоко водой. Красавку кормили хлебом, сделали ей хлев из старого чума, и она прожила в нем – кажется, вполне довольная, – до начала сильных морозов. Потом Красавка исчезла. Искали ее целый день, но так и не нашли, думали: задрали волки. Только через неделю, когда корову уже собирались списать, один старый коряк, услышав мычание, обнаружил ее в самом странном месте – в утробе кита, лежавшего на берегу Пенжины. Этого кита полмесяца назад загарпунили коряки, вытащили на снег, частично разделали, а остальное бросили здесь же, у самого припая, и, кому было надо, отрезал от его туши куски мяса для своих собак. Из кита ее пытались выманить хлебом, но она долго грустно мычала и не шла. Думали пробиться к ней, прорубив ход в боку кита, но он за две недели так промерз, что его с трудом брал даже лом; работа шла туго, и, когда стемнело, Тэна решила, что в ките Красавке, наверное, теплее, чем в чуме, и пускай она живет где хочет.

Кормилась корова китовым мясом, своим телом она отогревала его и ела. Раз в три-четыре дня она безумела от такой пищи, выбиралась из кита и носилась по поселку, раскидывая всех единственным рогом. Не только люди, но и собаки боялись ее. С наступлением темноты корова начинала нападать на корякские чумы. Не знаю, что привлекало ее – тепло, свет, люди или она просто искала свой старый хлев. Корова играючи пропарывала чумы насквозь, топча и бодая всё, что ей попадалось на дороге, несколько человек она легко ранила, но пристрелить ее не решались – коряки были уверены, что это шайтан и пуля его не возьмет. На следующее утро после погрома они приходили к Тэне, долго печально перечисляли ей свои потери, просили взамен денег, керосина и каких-то еще товаров со склада. Из недавней речи лектора они знали, что, если пострадают от стихийного бедствия, государство должно им помочь. Они говорили Тэне, что, если русские прислали им своего самого страшного зверя, чтобы запугать и заставить сдавать еще больше оленьего мяса, они согласны, пускай только Красавку возьмут обратно. Тэна ничего им не давала и отсылала объясняться к Крейцвальду как к старшему бухгалтеру и знатоку русской жизни. Федору они повторяли то же, что раньше Тэне, но и он ничего им не давал, говоря, что корова в России есть почти в каждом доме, что она кормилица, что ее все любят и не боится никто, даже малый ребенок.

В конце октября Тэну пригласили на какой-то праздничный слет в Магадан – и она уехала, оставив вместо себя Федора. 7 ноября, в сороковую годовщину революции, как только рассвело, коряков, по обыкновению, собрали у сельсовета, и там открылся митинг. Сам сельсовет был почти по трубу занесен снегом – чистили только крыльцо и небольшую площадку вокруг него. Вел торжество приехавший накануне инструктор райкома партии. Едва он успел начать свою речь, появилась Красавка, коряки шарахнулись от нее в сторону, но она, не обратив на них внимания, зашла за угол сельсовета и по твердому, как лед, насту стала взбираться на крышу. Сначала ее не было видно, потом однорогая голова появилась прямо над инструктором, рядом с укрепленным над крыльцом флагом. Она потянулась к нему губами, достала и, очевидно, принимая за мясо, стала есть. На нее замахали руками, закричали, – она не слышала. Доев флаг, Красавка долго смотрела на коряков, потом повернулась, чтобы идти обратно, и в этот момент кто-то кинул в нее кусок льда. Корова вздрогнула, дернулась, копыта ее заскользили по крыше, и она тяжело, задом, свалилась вниз. Падая, копытами она задела инструктора. Он отделался несколькими царапинами на щеке, а она, очевидно, сломав себе позвоночник, почти сразу же околела.

Эту историю расценили как политическую провокацию. Через два дня, еще до приезда Тэны, наряд милиции из Каменского забрал Крейцвальда и увез его туда для допроса. Все были уверены, что его снова посадят, однако делу хода не дали. То ли из-за Тэны, то ли времена были уже не те. Через месяц его выпустили, но назад в «Заветы Ильича» он уже не вернулся,



развелся с Тэной и жил в Каменском, до дня своей смерти 12 мая 1961 года работая механиком в городской котельной.

Ты пройдешь, не оставив следа,  
Где, как окна заброшенной хаты,  
По бочагам чернеет вода  
В тонком слое земли ноздреватой,  
И по кочкам, где клюквенный сад  
Дозревает до темного цвета,  
За тобою уходят назад  
Дни последние бабьего лета.

В октябре 1938 года, через восемь месяцев после ареста родителей, Николай и Сергей Крейцвальды были взяты из их московской квартиры. Брали их тоже, как и родителей, на рассвете, но народу было меньше – районный опер да два милиционера – и без обыска. Николай и Сергей еще спали, и те долго колотили в дверь, хотели уже ломать.

Эти восемь месяцев с ними прожила какая-то троюродная тетка их матери, но, когда деньги были истрачены и есть стало нечего, недели за две до ареста она уехала в Ростов к другой своей родственнице. Достать деньги было можно, в доме было что продать, и тетка, кажется, хотела остаться с ними и дальше, но Николай и Сергей не разрешили ей трогать ни одной вещи, не дали даже колеч, которые мать никогда не носила и которые тетка хотела заложить в ломбард, тридцать раз объясняя им, что ничего не пропадет, что их всегда можно будет выкупить. К этому времени они уже давно не хотели с ней жить и делали всё, чтобы она уехала.

На вокзале, сажая ее в ростовский поезд, они не сомневались, что больше никогда с ней не встретятся, но лет через десять, уже после войны, старший из братьев, Николай, сам нашел ее, прожил в ее доме почти месяц, тетка тогда спасла ему дочь, и накануне отъезда они долго говорили, плакали и простили друг друга.

Было это осенью то ли сорок седьмого, то ли сорок восьмого года, когда он во время своих многомесячных, сползающих к югу кочевков оказался в Ростове. Он ездил тогда уже не один, а с женой Катей и годовалым ребенком. Деньги кончились, ехать дальше было не на что, и они застряли в Ростове. Несколько раз Николай пытался сесть в товарный состав, но их ловили, снимали и в последний раз, когда милиционеры его уже запомнили, сильно избили. Девочка неделю назад, еще в Воронеже, простудилась, и, как Катя ни берегла ее, здесь, на вокзале, из-за бесконечных сквозняков у нее начался сильный кашель. Соседка по лавке долго слушала, как она хрипит, а потом стала кричать на Катю, что она врач, что у ребенка воспаление легких, что им нечего делать на вокзале, а надо немедленно идти в дом, в тепло, класть девочку в постель и лечить, иначе она погибнет. Катя плакала. Николай сидел от нее скамейки через три, пил водку – его угощали только что демобилизованные солдаты – и ждал, когда соседка кончит, потом подошел к Кате и сказал, что идет в город, попробует узнать что-нибудь насчет больницы, может быть, получится. Что с больницей ничего не выйдет, знали и Катя, и он. В Ростове он был уже в двух, и в каждой его, как в милиции, допрашивали: кто, откуда, где работает и почему не сидит дома, а мотается по стране, как перекасти-поле. В войну город был сильно разрушен, и мест в больнице не было даже для своих, а тут он вдобавок выпил.

Когда Николай еще сидел с солдатами, объявили, что на первый путь прибывает из Москвы тбилисский поезд. Это был тот поезд, который был нужен Николаю, и Кате, и девочке, тот поезд, который вез в тепло, и до тепла и моря было совсем близко, всего сутки езды. Сейчас Николай вспомнил об этом поезде, вспомнил, что он еще не ушел – тбилисские поезда стояли в Ростове не меньше сорока минут, здесь их заправляли и углем, и водой, а после объявления не прошло и двадцати. Всё это, и про больницу, и про поезд, он легко сосчитал, сосчитал даже то,

что сегодня пятый день, как он провожает тбилисские поезда, и что один из солдат, с которым он пил, тоже уезжает этим поездом – значит, надо проводить и его, и что это хорошо, удачно, что зараз он проводит обоих.

Через тяжелые вокзальные двери он вышел на перрон, народу было немного: все, кто ехал до Ростова, уже ушли, а те, кто садился в поезд, сгрудились около проводников, но и их было мало – не сезон. Солдата нигде не было видно. Чтобы не пропустить его, Николай вернулся к хвостовому вагону и оттуда пошел вперед. У паровоза он понял, что солдата ему не найти, и что, в сущности, это не важно – знает солдат, что Николай провожает его, или нет. Минуты три он стоял около паровоза, а потом подумал, что, раз у него есть время, хорошо было бы разведать поезду дорогу, чтобы потом, когда он поедет, всё было в порядке. Он спрыгнул с платформы и пошел вдоль пути. Минут через пятнадцать, когда здание вокзала уже скрылось за поворотом, он услышал гудок отходящего поезда и прибавил шаг. Потом состав стал нагонять его, и он побежал.

Сначала паровоз легко обошел его, но тут начались бесконечные стрелки, и ему пришлось сбавить ход. Несколько минут Николай держался на уровне третьего вагона, даже сумел обойти его, стал доставать паровоз, но тут поезд снова набрал скорость, еще минуту Николай шел вровень, а потом цифры вагонов стали всё быстрее расти мимо него. Бежать уже не было сил, задыхаясь, он повалился на землю и, как ребенок, заплакал. Он плакал, потому что не сумел догнать поезд и тот опять ушел без него, потому что забыл о Кате и девочке, забыл, что он шел только проводить поезд и солдата, что он разведал им путь и теперь у них всё будет хорошо. Из последнего вагона кто-то махал ему и кричал, но из-за стука колес разобрать ничего было нельзя.

К вечеру он отошел, успокоился, но так и остался лежать около путей. Он слушал, как еще задолго до поезда всё вокруг начинает дрожать, но догадаться, куда он едет – в Ростов или из Ростова, – трудно. Каждый раз земля звенела почти до самого поезда, а потом звук обрывался, и сразу рядом с Николаем возникал весь состав и грохотал не мимо, а прямо над ним и, когда кончался, тоже уходил не в сторону, а вверх. Так же вверх уходили и все поезда, которые он провожал в детстве, и, как опытный стрелочник, он теперь использовал каждое окно и один за другим включал их в общее движение.

Таких поездов, кроме пригородных, в его жизни было четыре. Три увозили мать и отца на юг – в Крым и в Кисловодск – и один – в Ленинград. Был еще один, но уже без матери и отца, и он никак не мог его вспомнить. Отца и матери не было ни в поезде, ни рядом с ним, на перроне. Всякий раз он думал, что так не могло быть, думал, уже зная, что вспомнит, что уже совсем горячо, уже видя человека, кричащего и машущего ему из последнего вагона. Он не сразу понял, что теперь различает лицо и слышит слова, что это лицо его тетки и она кричит: «Коля! Тухачевского, двенадцать... Так же, как тебе лет... Ростов, Тухачевского, двенадцать...»

Николай встал и сначала опять шел вдоль полотна, вслед за голосом и лицом, но потом повернул, перепрыгнул через кювет, потом – через низкий станционный заборчик и сразу оказался в городе. Где улица Тухачевского, никто не знал. Наконец, какая-то старушка объяснила ему, что сейчас такой улицы нет и не может быть, но когда-то до войны действительно была, и что она есть и сейчас, но называется по-другому – Одесская, и до нее совсем недалеко: дойдет минут за пятнадцать.

Тетка жила на втором этаже небольшого деревянного дома, у нее была своя комната, которую ей оставила сестра, умершая во время войны. Она встретила Николая как родного, вместе с ним поехала на вокзал и перевезла всех к себе. Девочка задыхалась, горела и была очень плоха. Тетка помогала Кате всем, чем могла: дежурила по ночам, стирала пеленки, бегала за лекарствами. Николай на третий день устроился сторожем на речной склад, сразу на две ставки, домой почти не приходил, и они всё делали вдвоем. Болезнь шла очень тяжело, но в конце третьей недели наступил кризис – и девочка начала поправляться. Тетка была в восторге

от ребенка, не спускала ее с рук и объясняла Кате, что она вылитая Наташа, мать Николая, и они молодцы, что тоже называли ее Наташей.

Она рассказывала Кате и про свою жизнь, и про Натину, про то, что до революции у ее отца здесь, в Ростове, был большой особняк на Дворянской, был у нее и жених, офицер, но замуж она так и не вышла – в девятнадцатом году он погиб под Орлом. Потом она жила у разных родственников и в Ленинграде, и в Саратове, и в Баку, помогала по хозяйству, воспитывала детей. В тридцать шестом году, когда у Наты родился третий мальчик, она переехала к ней.

Ната считалась в семье самой красивой, познакомились они еще в десятом году, детьми, и тетка рассказывала, что была очень рада, когда Ната пригласила ее жить к себе. Она жаловалась Кате, что, когда Федора и Нату арестовали, она решила, что это ее семья и, что бы ни было, она вырастит ребят и поднимет, и если Ната и Федор, бог даст, вернутся, мальчики будут и одеты, и накормлены, и ухожены, будто они их ей всего на день и оставили. Тетка говорила Кате, что Николай и Сергей сразу же ее невзлюбили и выживали как могли, что, останься она тогда, они бы ни в детдом не попали, ни в колонию, как Николай, а Сергей, любимец Наты, тот вообще сгинул, наверное, и в живых его нет.

Дня через два после этого разговора сменщик Николая вышел на работу и его отпустили на ночь домой. Девочка и тетка давно спали, Катя постелила себе и ему на полу и, когда он лег, спросила, правда ли, что они травили тетку и заставили ее уехать. Николай сказал, что правда. Он помнил, что они с Сергеем ее действительно травили, что заводилой чаще всего был Сергей, а за что травили – после колонии, войны и Кати, – вспомнить не мог. Ему было стыдно и жаль старуху. На следующий день, вечером, когда склад закрылся и причал опустел, он сел у самой воды на старые шины и стал думать, почему они невзлюбили тетку.

Он вспомнил, что, когда увели родителей, они с Сергеем уже знали, что худшего не будет, что всё, что было, кончилось и ничего не вернешь. Он вспомнил, что тетка хотела, чтобы они жили так, будто ничего не случилось, как будто всё в порядке и родители уехали ненадолго и со дня на день вернутся. Но жить по-старому было нельзя. Нельзя было жить так же, как при них, когда их уже не было.

Через неделю после ареста матери и отца от ребят во дворе, да и сами они уже знали, что их ждет. Знали, что их отправят в спецдетдом, что спецдетдом – это лагерь для детей, лагерь-школа, и, когда они вырастут и окончат его, их, скорее всего, переведут во взрослый лагерь, может быть, в тот же, где сидят отец и мать. Они знали, что это наезженная колея, что они, как уже несколько их знакомых, пойдут за своими родителями, что это правильно, что так и должно быть, потому что родители всегда любят, когда дети идут их путем.

Они понимали, что сейчас им важнее всего быть хотя бы на шаг ближе к родителям, а в спецдетдоме они будут ближе и жить будут почти так же: ведь и ими, и лагерями управляют одни и те же люди. Он не мог вспомнить, сами они поняли или им сказали, что из-за тетки их и не забирают в детдом, что это их дорога и они на нее всё равно выйдут, а тетка только задерживает и мешает им.

Дней через пять, когда Наташа совсем поправилась и окрепла, тетка на свои деньги купила им билеты до Сухуми, а накануне отъезда, вечером, устроила прощальный пир. Было много еды, даже мясо, где-то она достала целую канистру дешевого белого вина, они просидели всю ночь, всё вспомнили и простили друг друга.

Через полторы недели после отъезда тетки в Ростов, когда Николай и Сергей уже два дня ничего не ели и младший, Сергей, с ночи решил, что пойдет на вокзал воровать и накормит Николая, их арестовали. Когда милиционеры пришли за ними, он был им благодарен, потому что теперь ему не надо было идти на вокзал и, значит, воров он не будет. Из-за этой ночи он потом всю жизнь, и после реабилитации тоже, считал, что был, в отличие от Николая, арестован правильно.

«Воронок» отвез их в районное отделение милиции, там их посадили в камеру и на три дня забыли. Оба они хорошо запомнили это время не только потому, что видели тогда друг друга последний раз, но, главное, потому, что сразу поняли, что всё определилось, что от них ничего не зависит и, что бы они ни делали, ничего не изменится. Это было то чувство, что всё идет так, как может и должно идти, что ничего делать не надо, которое и сохранило силы многим людям, просидевшим в лагерях по десять-двадцать лет. Они ели, радовались, что их держат вместе, и почти не говорили о том, когда их вызовут и куда отправят. На четвертый день после ареста, утром в понедельник, милиционер отвел младшего из братьев, Сергея, к начальнику отделения, тот допросил его очень коротко, всё дело не заняло и получаса, с его слов заполнил несколько бумаг: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, родственники, а потом отослал обратно в камеру. Когда повели Николая, он уже знал, что будут спрашивать, и в коридоре сообразил, что может прибавить себе пару лет, что проверять, наверное, никто не будет, ему и так чуть ли не все дают тринадцать, что пройдет – хорошо, в детдоме на два года меньше, а проверят – скажет, что оговорился, и дело с концом. Всё сошло. Его допросили так же, как Сергея, и вернули в камеру. Вместе они пробыли еще два дня, а потом Сергея днем, а его вечером на «воронке» отвезли на вокзал и отправили в детдома. Больше они никогда не встречались, хотя в августе сорок первого их поезда оказались рядом на станционных путях Волоколамска. Немцы тогда бомбили вокзал, вокруг всё горело, и движение на два дня встало.

В своем детдоме под Смоленском Николай прожил меньше года. В декабре тридцать девятого, в новогоднюю ночь, он вместе с тремя товарищами устроил побег. В тридцатиградусный мороз они прошли пять километров до железной дороги и еще пятнадцать по шпалам до узловой станции, где останавливались поезда, идущие на юг. Они знали расписание, знали, что должны успеть на ночной поезд, потому что следующий будет только днем и на него не сядешь. Последние три километра, уже ничего не чувствуя от холода, только помня, что опоздать нельзя, они бежали до странности ровными – из-за шпал – прыжками и, кажется, успели. На станции, боясь, что их заметят, они не стали заходить в здание вокзала и спрятались по двое за перронными лавками. Поезд всё не приходил, и они заснули.

В детдоме под утро их хватились. Следы вывели к железной дороге. Позвонили на все ближайшие станции и утром их нашли и взяли. Железнодорожный капитан, командовавший нарядом, сказал им, что они лопухи, что не надо спать, что поезд опоздал на два часа из-за заносов, что он был и давно ушел. На станции двое из них сильно обморозились. За этот побег Николай получил шесть лет и был переведен в колонию для несовершеннолетних под Вязьмой, в которой пробыл до июля сорок первого года.

Первый месяц войны через Волоколамск ежедневно проходило по несколько десятков эшелонов, но с середины июля немцы начали почти каждый день бомбить пути на запад и на восток от города, составы перемешались, станция начала задыхаться и почти встала. Сам Волоколамск немцы пока не трогали, они знали, что здесь много зениток, и не хотели рисковать. Первый настоящий налет на город был 24 июля. Начался он ровно в полдень. Вся станция была забита эшелонами и войсками. Бомбили Волоколамск четыре звена бомбардировщиков, они сменялись каждые двадцать минут и улетели только через два часа. Вокзал горел больше суток, и всё это время продолжали взрываться цистерны с горючим и вагоны с боеприпасами.

Еще за три дня до бомбежки в город пригнали два поезда с заключенными. После долгой ругани с конвоем начальник станции приказал загнать их в тупик и пропустить в последнюю очередь. Когда начался налет, конвой не стал открывать вагонов, солдаты отошли от поездов на несколько десятков метров, окружили их и залегли. Уже от первых бомб несколько вагонов загорелось, во многих из них взрывами сорвало засовы и двери, зеки, пытаясь спастись, стали прыгать на землю, но конвойные, боясь побегов, стреляли их. Когда налет кончился, оставшихся согнали в целые вагоны, и через день паровоз, присланный из Москвы, увез их на восток. С этим поездом Николай доехал до какой-то станции около Москвы, потом в другом

эшелоне до Перми и уже из пермской колонии, как и все, кому исполнилось семнадцать лет, был в декабре сорок второго зачислен в штрафной батальон и отправлен на фронт.

Полтора года ему везло: он провоевал без единой царапины, – но в июне сорок третьего под Орлом наконец искупил свою вину кровью. Пуля, задев верхушку левого легкого, прошла навывлет, а за секунду до или после нее он был тяжело контужен разорвавшимся рядом снарядом. Два дня он пролежал в воронке у самой дороги, санитары его или не заметили, или посчитали мертвым, в списках части он тоже значился среди погибших. На третий день девочка из соседней деревни услышала, как он стонет, и с матерью перенесла его в дом. Они выхаживали его несколько месяцев, а потом передали в тыловой госпиталь, стоявший в Орле.

После Орла лечили его еще в двух госпиталях. Пулевое ранение долго не затягивалось, рана гноилась, особенно сзади, на спине, где образовался свищ. Понадобились три операции (во время одной из них ему отрезали часть легкого), прежде чем дело пошло на поправку. Свищ закрылся, он уже начал вставать и надеялся, что его вот-вот выпишут, когда госпитальный невропатолог во время вечернего обхода обратил внимание на то, как сильно дрожат у него руки. Николай и сам давно заметил, что во время ужина расплескивает по половине стакана чая, но думал, что это всё от наркоза, потери крови и слабости. Утром, сразу после сна, дрожь была почти не заметной, он мог даже показывать шулерские приемы, которым обучился в колонии, а к вечеру руки расходились вовсю. Невропатолог задержал его выписку на месяц, никакого улучшения не было, он вызвал к себе Николая, сделал это специально вечером, перед самым отбоем, и сказал, что здесь они ему помочь ничем не могут, что это последствия контузии, которые лечатся долго и трудно, что, если он настаивает, они его, конечно, выпишут, но тогда он так и останется инвалидом. Молодой красивый мужик, а не то что работать – бабу обнять не может, молотит по ней, как по роялю. Но если он не спешит, а в его положении только дурак спешить будет, то они направят его в специальный неврологический госпиталь в Саратов, где такие вещи лечат. Он согласился и поехал в Саратов, и там безо всякого улучшения провалялся еще год. Врачи говорили, что у него в голове поврежден какой-то центр и сделать, похоже, ничего нельзя; может быть, наладится само.

От этого лежания был только один плюс: Николай научился кое-как управлять своими руками. Он заметил, что, если сцепляет пальцы, руки мешают друг другу и дрожат намного меньше, или, во всяком случае, видно это намного меньше. Теперь он даже мог писать, придерживая и направляя правую руку указательным пальцем левой. Писал он строго по букве, с небольшим расстоянием между ними, чтобы одна не залезала на другую; получалось вполне быстро, понятно и, пожалуй, красиво. В госпитале ему уже оформили вторую группу инвалидности и готовили другие бумаги к выписке, когда за ним приехала Катя. Это была та девушка, которая нашла его и выходила. Теперь ей было семнадцать лет, за день они поженились и через неделю, взяв все госпитальные документы, уехали в ее деревню.

Еще когда он лежал у них в доме и не знал, выживет или умрет, в последнюю неделю перед тем, как за ним приехали из Орла, – тогда он уже бредил редко и только по ночам, а днем был в сознании, – он заметил, что Катя уже большая, а не ребенок, как показалось ему в поле, когда она с матерью тащила его из воронки, что она красива и через год-два будет невестой. Тогда же они несколько раз подолгу друг с другом разговаривали. У нее, как и у Николая, в тридцать седьмом арестовали отца, правда, пока не началась война, от него приходили письма. Лагерь был где-то под Печорой, и, судя по тому, что он писал, жить там было можно. Она говорила ему, что в деревне их травят врагами народа и она, когда вырастет, добудет себе паспорт и уедет, а куда – всё равно. Николай тогда подумал, что, если выживет, надо вернуться сюда за ней, а потом уехать вместе на юг, к морю, в Крым или Баку, и забыть всё к чертовой бабушке – и деревню ее, и колонию, и войну.

Пока он лежал в Орле и еще хорошо помнил ее, они переписывались регулярно, но из второго своего госпиталя в Тамбове он писал ей уже редко. В Тамбове он числился среди

выздоровливающих, ходил, в городе у него была подруга, хорошая баба, и жить где было, если бы с руками всё было в порядке – он бы женился на ней и остался здесь.

Катю он почти забыл. От нее по-прежнему раз в неделю приходили письма, но было видно, что она боится писать и думает над каждым словом. Адрес саратовского госпиталя он ей не послал, писать не хотелось, да и не верилось, что с руками что-нибудь наладится, а такой он не то что в деревне – в городе никому не нужен. Когда она в Саратове разыскала его, он не узнал ее: так она была красива и так не похожа на свои письма и на то, что он помнил по тем дням, когда она ходила за ним. В госпиталь она приехала рано утром, сразу с поезда, не обратила внимания на его руки, хотя он, когда обнимал ее, не сдерживал их и честно, как и говорил ему врач в Тамбове, молотил по ней, как по роялю. В тот же день они поженились. У одной из медсестер, прямо рядом с госпиталем, она сняла комнату и вечером перевезла его туда. В этой комнате они прожили неделю. Кажется, Катя еще тогда хотела, чтобы они остались в городе, но работу было найти невозможно: у нее, кроме колхозной справки, никаких документов, его никто не брал, денег при выписке дали очень мало, – и она тоже поняла, что надо возвращаться.

Прохор, Катин отец, до ареста был председателем колхоза, с тридцатого года по счету то ли седьмым, то ли восьмым, но раньше, до него, все председатели были пришлые – или из города, или из района, или из другой деревни, а он местный. В деревне давно привыкли, что председатель должен быть чужой, что он прислан сюда властью, назначен ею и снят будет, если что не так, тоже ею. Они знали, что председатель и сам из этой власти, что он был начальником до того, как его назначили их председателем, будет им и дальше, в другом месте, когда его заберут отсюда. С таким председателем всё было ясно: и то, что он свой среди других начальников, и то, что знает, что и как надо.

Год на год не приходится, и председатели тоже были разные. При одном деревня была кое-как сыта, при другом голодала, но и тогда все понимали, что никто в этом не виноват, что выбирали его не они, да, может быть, и не плох он вовсе, а так сейчас надо, чтобы для них он был не очень, а для страны хорош. А если председатель попадался сносный и люди не голодали, то и желать больше нечего.

В пришлом председателе было много хорошего: деревня была для него чужая, ничего и ни о ком он в ней не знал, сидел у них председателем редко больше года – значит, и узнать не успевал; жили здесь, конечно, не на одни трудодни, у каждого были свои хитрости и заначки, за счет них и перемогались в самые голодные годы. Хорошо было и то, что с приходом нового председателя ничего не менялось, даже принаравливаясь особенно было не надо: был он – и были они, его жизнь и жизнь деревни шли как бы отдельно; ему и не завидовали никогда, настолько он был не их.

Про своих они всё знали: и кто чем кормится, и кто с кем гуляет, в каком доме девки родятся красивые, а в каком – работающие; у каждого было свое дело, свое место, которое занимать было не надо – оно так и переходило, как дом, от отца к сыну. Деревня была старая и ровная. За землю здесь всегда держались, ни особенных голодранцев, ни кулаков не было, никто свой хутор на отшибе не ставил, притерлись они друг к другу давно, еще при царе Горохе, да так прочно, что ни Столыпин, ни революция, ни коллективизация добить их не смогли.

С Прохором всё было по-другому. Он был свой. Можно сказать, что они его сами сделали председателем: сначала послали на курсы трактористов, там он и вступил в партию, потом позвали в бригады свекловодо-вод. Бригада на следующий год заняла по району первое место, из области приезжал корреспондент, они ему Прохора нахвалили на большую статью; статью напечатали, Прохору дали медаль, а через год выдвинули в председатели. Старики первые поняли, что, если Прохор останется председателем, деревне конец. Не должен быть председатель из своих, нельзя так. Всё, чем деревня держалась – и что вперед никто не лез, но не забывали и последних, даже в тридцать четвертом году, когда было у них совсем плохо, не умер никто, все выжили, и то, что каждый свое место знал и не дрался за чужое, не отнимал его у

соседа, как в других деревнях, отсюда и сила на жизнь оставалась, – ничего этого при Прохоре быть уже не могло.

Хоть он свое место бросил, а уйти от них не ушел. Жить так, как будто его нет, нельзя, свой он, а делиться заново – ни один не будет доволен. Потом – как делиться: с одними он в дружбе был, те теперь пойдут за ним наверх, с другими – не очень. Мальчишкой обижали его многие, и невесту у него Петька Конюх семь лет назад увел – с ним что будет? И еще: как его, так и он всю деревню знал как облупленную. Если прежние председатели, когда с них требовали в районе, жали деревню, требовали еще – жали еще, а потом всё: как ни требовали, больше не жали, потому что не знали как, думали, что и не осталось ничего, нечего жать, так и в районе говорили: «Ни черта у них нет – всё выжали», то с Прохором не так. Он про все их заначки знает, и, когда будут с него требовать, хоть и не по своей воле, – не там остановится, где те председатели, а там, где и вправду жать нечего.

Как только Прохор стал председателем, сразу и начали на него писать. Но не все. Многие считали, что надо выждать и посмотреть: может, и так, без писем, снимут его потихоньку. Но месяца через два он вдруг объявил, что хлеба на трудодень будет давать вдвое против прежнего, и не только в конце года при расчете, а хоть каждый день – бери, сколько наработал. Такое уже раза три было в районе, правда, давно, до тридцать пятого года, но и тогда ни один председатель с новыми трудоднями не продержался и трех недель: двух сняли, а третьего даже посадили за разбазаривание колхозного имущества. Думали, что слетит и Прохор, но у него оказалась сильная «рука» – второй секретарь райкома, который его три месяца назад выдвинул в председатели, в итоге отделался Прохор партвыговором, но трудодни разрешили ему оставить по-новому, правда временно и в порядке эксперимента.

После этого выговора деревня и начала писать на него по-настоящему: знали, что ни Прохор, ни секретарь райкома не вечны, что всё равно трудодни к концу года, когда госпоставки добавят, срежут или до старого, или того меньше, что к хорошему привыкаешь быстро, а когда всё повернут обратно, делать уже будет нечего и есть тоже нечего. Догадались они, что по расчету или так, но искушает их Прохор, заманивает сытостью, а потом, когда применятся они к нынешнему и привыкнут, он же или кто другой всё назад оттягает и еще приберет частью то, что было у них при других председателях, до Прохора. А хуже всего, что раскрыл он их, ослабил и выставил вперед.

Деревня и раньше считалась в районе зажиточной, а теперь, стоило кому появиться в городе или соседнем селе, узнавали и пальцами тыкали, а за глаза иначе как «кулаками» не называли. Значило это одно: чуть что район не выполнит – зерно ли, свекла ли, займы, – всё на них валить будут: «Вы кулаки, вам и платить». С голоду пухнуть станут, а всё равно не снимет с них никто ни гроша, так и помрут кулаками.

Чтобы не прогадать с письмами и не ошибиться, из деревни в райцентр каждый день посылали за газетами ходоков. Те раздавали их по дворам по очереди, везде, где были грамотные. Обносили только родственников Прохора, и не из-за того, что боялись, что те донесут ему, а потому, что виноваты они были не больше деревни, а губить свою кровь – страшный грех. Из газет брали всё, что было там о шпионаже, вредительстве и диверсиях, меняли только фамилию, имя, отчество и место, прочее оставляли, как в газете. Сначала думали не просто переписывать, а что-нибудь добавлять от себя, а потом не стали – в газете писали ясно, четко, красиво, у них так не получалось.

Через три недели из района прибыл наряд милиции и Прохора взяли. Четыре месяца о нем ничего не было слышно, шло следствие, а потом, уже в конце декабря, приехал в деревню первый секретарь райкома, привез с собой нового председателя, до этого у них было как бы безвластие, сказал, что они молодцы, проявили высокую сознательность и бдительность, что благодаря им разоблачен опасный враг и что через два дня, в воскресенье, в сельсовете будет

показательный процесс над Прохором, областной суд проведет у них специальную выездную сессию.

Ни до того, как секретарь райкома привез другого председателя (пока его не было, многие считали, что это не зря, что Прохор вывернется и возвратится), ни потом, после суда, на котором ему дали пятнадцать лет лагерей, ни жену Прохора, ни Катю особенно не травили; иногда, правда, ребята ругали ее «вражьем отродьем», но это шло от учительницы и скоро кончилось. Вернуться назад, к тому, что было до того, как Прохор стал председателем, ни Катя, ни мать ее, конечно, не могли, не могли и уехать: ни денег не было, ни сил, да и не отпустил бы их никто. Так они и остановились – и не свои, и не чужие. Приусадебный участок им оставили, Катина мать пошла еще работать техничкой в школу, платили ей за это трудовыми, и до войны, а потом и до конца войны они кое-как протянули. Потом Катя поехала к Николаю, сказала, что навсегда, а через три недели вернулась. Мать знала, как трудно устроиться в городе, и была рада, что Катя вернулась хоть не одна.

Когда они приехали, кончался июль, вся деревня была на сенокосе, людей не хватало и травы переставали. Николая тоже послали косить. Бригада, одни бабы, приняла его хорошо, знали, что он воевал здесь и чуть ли не на этом лугу лежал раненый в воронке. После войны в деревне осталось, если не считать старых, только три мужика: два инвалида, каждый без ноги, и один целый. Мать целого ворожила и для своей деревни, и для соседних, и так его заговорила, что пять лет он провоевал и с немцами, и с японцами без единой царапины. В деревне думали, что месяца за два-три Николай тут освоится, всё поймет и уйдет от Кати, благо невест много, выбрать есть из кого.

В начале августа, когда кончили косить траву и уже начали убирать хлеб, бригаду, в которой был Николай, перебросили на пшеницу. Дня три он выходил в поле со всеми, а потом руки отказали. Уже неделю как он не мог сам есть, руки дрожали так, что ложку до рта доносил пустой – расплескивал. Сначала он делал вид, что всё в порядке, что выливается капля, думал, что руки привыкнут к косе и дрожать перестанут, а потом, когда совсем ослабел, кормить его стала Катя.

Он не сразу понял, что всё опять вернулось назад, к лету сорок третьего года, когда он вот так же лежал в этом доме, не знал, что с ним будет дальше, выживет он или нет, а руки не слушались его и лежали рядом, как плети. Теперь они прыгали и скакали, но тоже не слушались, и Катя, как и тогда, придерживала рукой его голову и кормила из ложки. Он вспомнил, что еще в Тамбове, во втором своем госпитале знал, что с руками ничего не выйдет, никто их ему не вылечит, и не стал писать Кате, отвечать на ее письма.

Он подумал, что был тогда прав и Катя действительно не про него, и что она тоже была права, когда не хотела уезжать из города сюда, в деревню, что он настоящий инвалид, что привык, чтобы его кормили из ложки, что Катя его, кажется, любит – вчера, когда кормила, сказала, что боится, что беременна, и видно было, что рада. И, конечно, не надо было ему жениться на ней, но не жениться тоже было нельзя: и жизнь она ему спасла, и нашла, и приехала, и любил он ее. Еще он заметил, что больше не стыдится своих рук, что ему нравится, что они живые и прыгают, как дети. Он не хотел, чтобы Катя это поняла, и, когда в избе не было ни ее, ни ее матери, приладил к лежанке, на которой спал, две тугие веревочные петли и стал, когда надо было унять руки, всовывать их туда.

Дня через четыре, когда он уже окреп, начал вставать и даже принялся за давно обещанную Кате новую изгородь вокруг сада, пришел к нему бригадир. В избу заходить не стал, сел на лавку около ворот и сказал, что работать некому, пшеница уже сыплется, что Николай бы не дурил и выходил в поле, работают и без ноги, а не выйдет – не посмотрят, что инвалид, из колхоза выгонят и отнимут участок. Катя была в доме, слышала весь разговор и сказала, чтоб не ходил, что участок не его, а их, и они с матерью зарабатывают достаточно трудней, чтобы



не отняли. В тот же день вечером вызвали его к председателю, и тот тоже сказал, чтобы шел работать, если хочет, чтобы оставили участок.

В середине ноября, когда Катя была уже на пятом месяце, мать ее тяжело заболела и слегла, и Кате пришлось вместо нее ходить мыть школу. В больницу мать не брали, дежурить с ней надо было всё время, у нее в голове была опухоль, и она часто теряла сознание, кричала и билась, как его руки. Когда Катя уходила убирать школу, оставался с ней Николай. Раньше они дружили; но, заболев, мать решила, что заразилась падучей от его рук, и, когда не было Кати, ругала и выгоняла его. Болезнь шла очень быстро, к весне мать начала слабеть, в промежутках между приступами почти совсем не двигалась, не разговаривала и, только когда Катя уходила, всегда плакала. Николая она больше не гнала, даже просила, чтобы он простил ее. Умерла она в начале марта, после долгого припадка, ровно за две недели до того, как Катя родила. В память о ней девочку назвали Наташей.

В середине апреля Николаю удалось достать в соседнем колхозе лошадь и они с Катей и двумя мужиками первые в деревне вскопали делянку и посеяли картошку. Кончали уже в сумерках, без Кати, она ушла кормить девочку и готовить на стол. В избу сразу не пошли, сидели на меже, говорили о войне, о старухе – сегодня как раз было сорок дней, потом, уже в доме, налили ей полную рюмку, хорошо помянули. Мужики рассказывали, как она плясала и пела, у одного из них была гармонь, он пошел за ней, и они втроем долго, почти всю ночь, пели фронтовые песни. Катя их не трогала, она сама много выпила, была рада, что посадили картошку, что помянули мать, что девочка здоровая и что, кажется, их больше не бегают как чумных.

Под утро гармонист стал играть для нее, она пела песни, которые когда-то слышала от матери, так же, как она, тянула и поднимала последние слоги. Голос звучал очень сильно и красиво, и она, и потому, что была пьяна, и потому, что песни были не ее, а матери, а сама она пела так давно, что успела забыть и свой голос, и что вообще умеет петь, думала всё время, что поет не она, а мать.

После сороковин Катя и Николай прожили в деревне меньше месяца, а потом, когда председатель, как и грозил осенью, отнял участок и присланный с МТС трактор всё перепахал, снялись, продали дом и уехали. Сначала они жили в райцентре, но там Николай не смог найти никакой работы, и они тронулись дальше. Были в Курске, Орле, Туле, Пензе, Тамбове, снова в Курске, потом в Воронеже и оттуда через Ростов в середине октября добрались до Гудаут.

Поезд был сухумский, после Адлера он шел очень медленно, подолгу стоял на каждой станции: неделю назад в горах прошли сильные дожди, дорогу в нескольких местах размывало и завалило камнями, и, хотя сейчас всё вроде бы починили, поезда по-прежнему двигались осторожно. В Гудауты они прибыли рано утром, сильно опоздав; по расписанию должны были стоять здесь полчаса, но состав тронулся дальше только через час, когда дождался встречного. Всё это время Катя и Николай гуляли по перрону, по привокзальной площади, грелись на уже теплом солнце, сидели на стоящей между пальмами скамейке.

Минут за десять до отхода поезда тут же, на вокзале, они прочитали объявление городского парка культуры и отдыха, которому требовались рабочие, и вдруг решили, что до Сухуми они доберутся как-нибудь и так, а здесь хорошо – парк, говорят, близко, прямо на берегу моря. По России они знали, что брать их без прописки не станут, а пока нет работы, никто их в Гудаутах не пропишет, но, чем черт не шутит, может быть, им так позарез нужны рабочие, что они на прописку внимания особого обращать не будут, возьмут их, а там, потом, как-нибудь всё устроится. В Гудаутах им и вправду повезло: директор был на месте, сразу принял их, сам он только год как демобилизовался, воевал там же, где Николай, на 2-м Украинском фронте, чуть ли не тогда же был ранен, они разговорились, выпили, он пожалел Николая: молодой мужик – и инвалид, и Катю – что пошла за него, вызвал кадровика и сказал ему, чтобы оформлял Николая на карусель кассиром-смотрителем, а Катю уборщицей.

В Гудаутах Николай прожил двенадцать лет, до самого дня своей смерти – 1 мая 1960 года. Он умер мгновенно от паралича сердца. Так же умер Федор Николаевич, и, судя по всему, в семье эта болезнь или предрасположенность к ней была наследственной. Правда, хотя Николай умер совсем молодым, в тридцать четыре года, контузии и ранение давно уже сделали его стариком: у него тряслись и руки, и голова, ходил он тоже с трудом, его шатало, и, чтобы не упасть, он всегда или опирался на что-нибудь, или для равновесия расставлял руки. Еще за год-два до смерти было видно, что он долго не протянет. После смерти Николая Катя осталась жить здесь же, в Гудаутах. От Николая у нее было трое детей – старшая дочь Наташа, сын Прохор, еще одна дочь Ирина, которая родилась в 1957 году, за три года до того, как Николая не стало. Год она вдовела, а потом снова вышла замуж. Во втором браке у нее тоже были дети – мальчики Роберт и Ваню.

В 1985 году я совершенно случайно разыскал Катю. К этому времени я уже знал, что Николай не погиб на войне, знал госпитали, в которых он лежал, проследил его путь до Гудаут: он писал своей тетке в Ростов, и среди ее бумаг я нашел несколько поздравительных открыток Николая с гудаутским штемпелем, но без обратного адреса. Дважды я был в Гудаутах, но найти ни Николая, ни Кати не смог. Почему – теперь понятно. Его уже давно не было в живых, а у нее была другая фамилия.

В сентябре 1985 года я с женой отдыхал в доме отдыха в Гаграх. Сентябрь там – лучший месяц, бархатный сезон, но на этот раз чуть ли не через день шли дожди. Мне надоело сидеть в четырех стенах и ждать погоды, и я, воспользовавшись тем, что в Гудаутском райкоме партии у меня было какое-то не слишком важное дело, на день уехал туда. Человека, который был мне нужен, на месте не оказалось, вроде бы он был в горах, в колхозе, но то ли сегодня, то ли завтра должен был вернуться. Чтобы узнать, ждать его или не ждать, я пошел в канцелярию. Заведующей оказалась женщина лет пятидесяти пяти, редкой красоты, по виду явно не грузинка – русская или, скорее, казачка. Она сидела одна, и мы разговорились. Звали ее Екатерина Прохоровна, и уже через несколько слов я вдруг понял, что это и есть Катя. Я сказал ей, кто я и кого ищу. Из соседней комнаты она позвала какую-то Лену, сказала, что у нее дела, что сегодня ее больше не будет, и мы ушли в город.

Она повела меня на кладбище, где похоронен Николай, оттуда в парк культуры и отдыха, где они тогда работали, показала карусель, потом мы сидели на скамейке на пляже. День был пасмурный, народу было мало, она рассказывала про Николая, про себя и плакала. Вечером я был у нее и ее мужа в гостях, принимали меня по-королевски. Мы подружились, теперь регулярно переписываемся, а раза два в году и встречаемся – или у нас в Москве, или у них в Гудаутах. По просьбе Кати я так и не сказал ее мужу, что я родственник Николая и искал его.

Тогда, в октябре сорок восьмого года, сразу, как только их оформили на работу, Катя оставила Николая с девочкой и пошла в город искать жилье. Она проходила целый день, но так ничего и не сняла. Хотя сезон кончился, всё было безумно дорого, и хозяева говорили ей, что в городе много пришлых и дешевле не будет. Выручил их склад. Еще когда они с директором договаривались о работе, он в окно показал Николаю сарай, сказал, что там склад и что пока он будет и кладовщиком. Потом он дал им ключ и разрешил оставить в нем вещи. Сарай был доверху завален старой мебелью, кусками резной металлической ограды, обломками и частями разных аттракционов, еще черт-те чем. В нем они сначала и поселились.

Дверь склада открывалась вовнутрь, и единственное свободное место было то, где она ходила. Из досок Николай сколотил два топчана, на ночь они раскладывали их в этом закутке, днем же ставили стоймя. Две недели они занимались тем, что выносили всё, что было в сарае, на улицу, разбирали, сортировали, потом, приведя в порядок, несли обратно. Среди прочего нашлось и много нужного: запчасти для аттракционов, не работавших еще с довоенных лет, лампочки и провода иллюминации, а главное, масса всякой наглядной агитации, за отсутствие которой в парке директор только что получил выговор. Транспарантам и лозунгам он был так

рад, что разрешил Николаю выгородить в сарае маленькую комнатку – теперь там было свободное место, – прорубить окно и жить сколько хотят.

В этой комнате никто не трогал их почти целый год. Они, как могли, утеплили ее, сделали настоящие стены, в два слоя обшили их старыми плакатами, а поверху для красоты наклеили фотографии из журналов. Первое время они боялись, что, несмотря на разрешение директора, их вот-вот выселят, несколько раз к ним заходил кадровик и говорил, что склад – не место для жилья и им давно пора найти себе другое помещение. Только к маю, когда начался сезон и в город один за другим стали приходить поезда с курортниками, всем стало не до них, и разговоры сами собой заглохли.

Лето и начало осени они прожили спокойно, жили бы так и дальше, но в октябре в Гудаутах подряд сгорели сразу три склада с мануфактурой; ходили слухи, что жгли их сами кладовщики, чтобы скрыть недостачу, – но сделано всё было чисто, и доказать ничего не удалось. Убытки были такие большие, что сняли даже начальника пожарной охраны города, и велено было в течение недели самым суровым образом проревизовать на предмет пожарной безопасности все городские склады и навести порядок. Когда ревизия дошла до их парка и обнаружила комнату, Катю и Николая со скандалом выгнали на улицу, едва не уволили. Две недели они с девочкой ночевали на вокзале, а потом, когда карусель, на которой работал Николай, сломалась, Катя сходила к директору, и тот разрешил им, пока карусель не починят, ночевать прямо на ней.

В самый центр карусели, в подшипник, который крутил ее, был вставлен высокий, похожий на мачту шест, к нему крепился сделанный как шапито навес, он был двойной: верх из разноцветных, ярко раскрашенных полос брезента, низ из парусины. В хорошую погоду всё это было обернуто вокруг шеста, а когда начинался дождь, навес распускали, заводили за края карусели и крепко натягивали. Получался настоящий шатер. Чтобы превратить его в жилье, оставалось устроить вход. Катя бритвой сделала небольшой, метра в полтора, разрез как раз между львом и жирафом, а чтобы он не пошел дальше, со всех сторон обметала его и пришила, как в хорошей палатке, пуговицы и петли. На это ушла почти неделя – парусина была такая плотная, что ломала иголки.

Лучшим временем для них теперь стали осень, зима и начало весны. С конца октября до начала апреля из-за холода и частых дождей карусель останавливали, шапито не надо было сворачивать и убирать. Николай сразу, как только они там поселились, сделал переходник для карусельного электрощитка, на первые же деньги Катя купила четыре электроплитки, и внутри всегда было тепло. Свет они себе тоже провели, но включали его редко, больше любили сидеть в полумраке, вокруг одних плиток, как около камелька.

Зимой парк почти не работал, иногда его не открывали целыми неделями. Николай и Катя оставались совсем одни и жили и делали что хотели. Когда случался хороший день, Катя с девочкой подолгу гуляли вдвоем в пустом парке, чаще всего прямо по берегу моря. У Николая был другой маршрут, каждый день он старательно обходил весь парк и, даже если начинался дождь, не шел в шатер, пока не кончал круга. Кате он говорил, что ему, как лесному зверю, надо метить свою территорию и что, если бы он этого не делал, их бы отсюда давно выгнали. В плохие дни они старались вообще не выходить наружу, грелись около огня и Катя, если была в настроении, пела.

В этом шатре они прожили одиннадцать лет, держались за него как могли. Здесь у них родилось двое детей – сын Прохор, названный так в честь Катиного отца, и маленькая Ира. Отсюда же их старшая дочь Наташа, а потом и Прохор пошли в школу, и умер Николай тоже совсем рядом, всего в ста метрах от шатра, и сюда же был принесен, и лежал здесь, на карусели, пока не повезли его хоронить. Катя говорила мне, что знает, что он так и хотел умереть тут, в парке, у себя дома.

Карусель начинала работать чаще всего в середине – конце апреля, в Гудаутах это почти лето, уже давно тепло, давно всё цветет, погода установилась и дождей совсем мало. Вставали они теперь рано, еще до рассвета: надо было поднять и накормить детей, убрать с карусели топчаны и матрацы, на которых они спали, свернуть навес. Потом, когда становилось светло, Катя шла убирать парк и кончала только перед самым открытием. Больше работы у нее не было, и дальше она или занималась хозяйством, или подменяла Николая: сидела вместо него в кассе, продавала билеты, пускала и останавливала круг. Вечером, уже в темноте, когда парк закрывался, они снова вносили на карусель постели, снова натягивали навес и ложились спать.

Все знали, где они ночуют, знали, что это непорядок, но следов не было, и их не трогали. Постепенно они обрastaли имуществом: вместо топчанов купили две хорошие железные кровати с панцирными сетками, маленький шкаф, когда Наташа пошла в школу – стол, чтобы ей было где готовить уроки. Так прошло несколько лет, наверное, шло бы и дальше, если бы не болезнь Николая. С каждым годом ему становилось всё тяжелее носить вещи: и их было больше, и он слабел. Как-то, когда в парке уже неделю не было никого из начальства – директор уехал на двухмесячные курсы в Москву, кадровик болел, – Катя сказала Николаю, что сегодня они ничего трогать не станут, оставят всё как есть, аккуратно застелила кровати новыми покрывалами и пошла убирать парк. Она знала, что им это не спустят – город полон курортников, в парке не протолкнешься, гуляют, смотрят выступления артистов, стоят в очередях на аттракционы, и на карусель тоже, а там – черт знает что, вместе со слонами, тиграми и жирафами крутятся кровати и шкаф.

Скандал и вправду был дикий. Директор должен был после курсов идти на повышение, его собирались сделать заведующим отделом культуры горкома, а тут отозвали обратно, дали строгий выговор и приказали в один день покончить с безобразием. Он приехал в город, сразу, не заходя домой, пошел в парк, остановил карусель и сказал, что ждет Николая у себя в кабинете. Катя пошла вместе с Николаем, но директор не пустил ее, вытолкнул в коридор и закрыл дверь на ключ. Орал он страшно, целый час материл Николая, называл его подонком и мерзавцем, кричал, что он не мужик, а желе, и ему не с бабой надо жить, а в богадельне, потом вдруг замолчал, отпер дверь и позвал Катю. С Николаем было плохо. Он стоял, прислонившись к стене, совершенно белый, с полуприкрытыми глазами, и почти не дрожал. Вдвоем они дотащили его до кресла, посадили, и тут у него начался такой же припадок, какие были у ее матери. Катя побежала в медпункт за врачом, привела его, Николаю сделали укол, он успокоился и здесь же, в кресле, заснул.

Директор всей этой историей был очень напуган, несколько дней даже не подходил к карусели, но в горкоме на него продолжали давить, и в понедельник утром, еще до открытия, он нашел Катю, говорить с ней не стал, только сказал, чтобы они убирались с карусели, иначе он велит рабочим всё разломать и выбросить, а их уволит. Катя ему ничего не ответила, но и делать ничего не стала. Николаю она сказала, что никакие рабочие их и пальцем тронуть не посмеют, что она была у юриста и тот ей объяснил, что выселить их можно только по суду и что директор это знает, они могут не бояться. Ни с работы, ни из города никто их тоже не выгонит: он фронтовик, инвалид, она мать троих детей, сейчас за этим очень смотрят, не те времена. Еще она сказала Николаю, что директору доводить дело до суда невыгодно; хоть и временно, а он сам разрешил им поселиться на карусели, на суде это вскроется, и уволят не их, а его. Скандал идет большой, на весь город, раздувать его никому, и горкому тоже, не с руки, директор – человек в городе влиятельный, и, чтобы замять и кончить всю историю, он выхлопочет комнату, которую им уже двадцать раз обещали. Надо только не уступать и ждать.

Катин расчет, похоже, был правилен, но то ли у директора не хватило связей, то ли не было в городе свободного жилья, но комнату они так и не получили. Когда стало ясно, что комнаты не будет, директор, чтобы выжить их с карусели, устроил за Николаем слежку. В засаде сидел иногда он сам, но чаще кадровик. Ловили Николая, когда он пропускал Наташу и млад-

ших детей на карусель без билета, кричали, что поймали его на месте преступления, что за использование служебного положения в личных целях сошлют его в Сибирь, в лагерь, но до края дело не доводили: если видели, что с Николаем что-то не то, сразу кончали, заставляли только купить билет и уходили.

Пока Катя рассказывала мне про их жизнь на карусели, наступили сумерки; мы сидели всё там же, на лежанке, у самой воды, пляж и раньше был для сентября пустоват, а теперь мы, кажется, были и вовсе одни. Когда совсем стемнело и я уже не мог видеть ее лица, Катя стала плакать. Потом мы поднялись и пошли в город. Катя жаловалась мне, что и от нее Николаю сильно доставалось, что детям всё время что-нибудь надо было на карусели – то уроки делать, то есть, то игрушку взять, в месяц на эти проклятые билеты уходила почти вся его зарплата, и им всем впятером приходилось жить на одни ее дворничьи пятьсот рублей, по-нынешнему пятьдесят. Николай ей каждый день клялся, что больше ни одного билета детям не возьмет, но так был запуган, что, когда ловили его, сразу покупал. Она тоже была дурой – надо было с него не клятвы брать, а деньги в каждую получку, а может быть, она и правильно делала, что оставляла ему деньги: и так он прожил всего полжизни, а без них, наверное, и того меньше. Здесь у него хоть выход был – покупал билет, и они отставали.

Потом она взяла меня за руку и сказала: «Вы только не подумайте, что директор был таким уж плохим человеком, он нас и на работу в парк взял, если бы не он, не знаю, где бы мы тогда устроились, и на склад, и на карусель – тоже он пустил жить. За одиннадцать лет мы, конечно, и жилье какое-нибудь найти могли или хотя бы, как раньше, сносить по утрам кровати. Тут я виновата, а не Николай, думала, что так нам комнату дадут быстрее. Его тоже понять можно: взял он нас на работу из жалости, дал сразу две ставки, и Николаю, и мне, хотел нам добра, что мог – делал, а от нас ему одни неприятности были. Он ведь местный, коренной абхазец, тут родился, тут вырос, всех и он здесь знает, и его, отсюда он на фронт ушел, воевал и с Германией, и с Японией, воевал храбро, в горьком партии столько орденов ни у кого нет. С его биографией он бы уже давно был большим начальником, а мы ему подножку поставили. Только за два месяца до смерти Николая сделали его завотделом культуры, и всё – дальше он не пойдет. И еще. Может быть, не травил бы он так Николая, если бы меня не любил».

Катю он любил много лет, еще с того года, когда они сюда приехали, хотел, чтобы она стала его женой, брал ее вместе с детьми – такого тут не было никогда, и время было послевоенное, баб сколько хочешь, а мужиков нет. Николая он за мужчину не считал, звал его «дрожкой», не понимал, почему она с ним живет, почему не уходит. Все эти годы он не женился, ждал ее и, когда умер Николай, тоже не торопил, разрешил, как она и хотела, год носить по нему траур. Когда они поженились, он усыновил ее детей, дал им свою фамилию – вся родня была против, – и относился он к ним так же, как к их общим детям – Роберту и Ване, ничем не отличал.

Умер Николай на майские праздники. Карусель была старая, облезлая, краски, чтобы подновить зверей, не было, и ходили на нее плохо. План она за все годы не выполнила ни разу. А весной шестидесятого года вдруг завезли на склад самые разные краски, Николай заново расписал каждого зверя, в библиотеке специально для этого взял Брема и всё тщательно перерисовал – и полосы, и пятна, и крап. Получилось очень красиво. То ли из-за новой краски, то ли потому, что кадровик следил за ним очень внимательно, и он опять извел на билеты всю свою зарплату, но апрельский план карусель перевыполнила.

1 мая должны были чествовать победителя социалистического соревнования. Премию приехал вручать их директор, недавно назначенный завотделом культуры. Победителем признали Николая. Был оркестр, всё было очень торжественно. В парке есть открытая сцена, на ней и вручали награды. Когда Николая пригласили, все зааплодировали – относились к нему очень хорошо. Он вышел в костюме и в галстук, который надел первый раз после того, как они с Катей расписались в госпитале. Волновался он, как ребенок, – весь красный, руки дро-

жат. Дали ему и премию, и красный флажок передовика. Потом завотделом культуры говорил речь о задачах парка, особо упомянул Николая, сказал, что премия – это добрый знак, что он надеется, что у Николая теперь всё наладится, что награда эта не последняя: в горисполкоме уже подписан ордер ему и Кате на комнату.

Когда Николай услышал про ордер, он встал, хотел что-то сказать или спросить – и вдруг повалился. Сидел он вместе с другими ударниками в первом ряду и, когда Катя к нему подбежала, был уже мертв. Собрание прервали, подняли и понесли его на карусель. Сначала шел оркестр, а за ним все, кто там был. Николай, собираясь на торжество, оставил вместо себя в кассе Прохора; когда оркестр подошел, мальчик ничего, конечно, не понял, заставил всех купить билеты и только потом пропустил. Николая положили на стол, кто сел на зверей, кто остался стоять. Наконец оркестр заиграл траурный марш, и тогда Прохор включил карусель.

Хоронили Николая с тем же оркестром на следующий день, вечером, на Русском кладбище. Место вы уже знаете.

Угольев горсть среди травы,  
Костер уже почти потух,  
Гниющей с осени листвы  
Я снова различаю дух,  
Повсюду мох – лес стар и гол,  
Как грустный дряхлый зверь лесной,  
Я свой участок обошел  
И медленно иду домой,  
Лес пуст: ни ягод, ни грибов,  
Ручей, сосна на полпути,  
Среди безлиственных стволов  
Мне легче по лесу идти.

Сергей, младший брат Николая, в детстве был до необычайности похож на мать. Мягкое округлое лицо с ее ямочками на щеках, такие же, как у Наты, большие зеленые глаза и тонкая, прозрачная кожа. Ната всегда мечтала о дочке, рожала только сыновей и, наверное, из-за этой похожести на себя любила и баловала Сергея больше, чем других детей.

Когда в Волоколамск на следующий день после немецкого налета пришли два присланных из Москвы паровоза, всем разрешили выйти на пути и дали есть. Потом Сергея вместе с другими детдомовцами придали бригаде женщин-заключенных, и они всю ночь вручную вагон за вагоном разбирали составы, расчищали запасный путь, отцепляли и отталкивали туда разбитые и искалеченные теплушки. На рассвете, когда другая бригада стала соединять оставшиеся вагоны в два небольших поезда, женщинам велели подобрать мертвых с железнодорожного полотна и из сгоревших вагонов, вырыть прямо за тупиком, кончавшим запасный путь, общую могилу и похоронить их.

Дальше людям снова приказали построиться, и конвой начал сортировать их по статье, полу, возрасту и месту назначения, чтобы затем распределить по теплушкам. Во время вчерашней бомбежки сторели почти все документы и списки заключенных, оба эшелона перемешались, и теперь всех, за вычетом погибших, надо было вернуть в исходное состояние.

Сначала эта работа шла довольно споро, но затем люди стали называть выдуманные статьи и фамилии, ничего не сходилось, охрана запуталась, и к полудню всё окончательно встало. Даже тех, кого уже посадили в вагоны, опять выгнали наружу и принялись проверять заново. Только в час дня, когда Волоколамск объявил воздушную тревогу и всем поездам, находящимся на станции, было приказано немедленно покинуть город, их за минуту распихали по ближайшим теплушкам, заперли и отправили в сторону Москвы.

В этой суматохе Сергей попал в тот же вагон, что и женская бригада, вместе с которой он хоронил убитых. Из Волоколамска они выбрались еще в самом начале бомбежки, и первые пятьдесят километров поезд шел без помех, очень быстро, нигде не останавливаясь, не сбавляя хода. При такой скорости, по расчетам, они через час должны были прийти в Москву на Виндавский вокзал, однако не доезжая Дедовска их остановили и после коротких переговоров приказали свернуть на окружную дорогу и уже по ней идти на Казанское направление. По пути поезд еще несколько раз останавливали, меняли паровозы, отцепляли одни вагоны и прицепляли другие, и только за Шатурой, когда их наконец через сутки дороги выпустили из теплушек на opravку, охрана обнаружила, что Сергей попал не туда. К этому времени эшелон был уже целиком женский и шел в женский лагерь под Караганду.

В Муроме его пытались сдать в местную тюрьму, но та без документов брать его отказалась, и Сергея, пересадив в бывший в одном из вагонов спецбокс для опасных преступников, повезли дальше. Раньше в боксе держали шесть женщин, много заплативших конвоем за эту привилегию и переведенных теперь в обычный «столыпин». Это нужно было и самой охране как место свиданий, и она настойчиво старалась освободить его и сбыть Сергея в каждом городе, где останавливался эшелон, но преуспела только на Южном Урале, в Кургане, где местная тюрьма согласилась наконец его принять.

Осенью сорок первого года дела в курганской тюрьме двигались до крайности медленно, не хватало следователей, да и положение на фронте казалось неопределенным. С теми подследственными, с кем всё было ясно, еще кое-как справлялись, а остальных даже не трогали. Почти перед самой войной по приказу сверху из сибирских, уральских и казахстанских лагерей были извлечены двенадцать видных членов партии левых эсеров; последние из еще живых, они были привезены сюда, и здесь, в Кургане, их должны были подготовить к большому показательному процессу. Задание было очень ответственное, взялись за него рьяно, но в конце сентября сорок первого года, после того как немцы вошли в Киев, из Москвы поступил отбой, и всё остановилось.

Эсеры понимали, зачем их привезли в Курган, понимали, почему дело застопорилось, и откровенно радовались отсрочке. В курганской тюрьме они пробыли больше полутора лет, до декабря сорок второго года, когда следствию по их делу снова был дан ход. На этот раз с ними не возились, не пытали и не добивались признания, за месяц всё было кончено, они получили высшую меру и после положенной по закону отсрочки на апелляцию в феврале сорок третьего года были расстреляны.

Когда в сентябре сорок первого начальник курганской тюрьмы согласился выручить конвой и забрать у него Сергея, он сделал это по дружбе к отцу одного из тамошних офицеров. Тюрьма была переполнена, что делать с мальчишкой, никто не знал, документов никаких, кто он и за что сидит, тоже непонятно, штрафбат отпадал – на вид ему было никак не больше тринадцати лет, вокруг города, как на грех, ни одной колонии, значит, и туда не спихнешь. В конце концов после недели сидения в камере предварительного заключения его перевели к эсерам, в самую пустую камеру тюрьмы, и так же, как о них, на полтора года забыли.

Эсеры приняли Сергея без возражений. Большинство их сидело в лагерях по десять – пятнадцать лет, последний раз они освобождались гуртом по амнистии в тридцать первом году, и то не все и ненадолго. В середине тридцать второго года их опять забрали, дали новые сроки и больше не выпускали. С тридцать второго года, когда те из них, кто успел в короткие перерывы между подпольем, арестами, революцией и лагерями жениться и родить детей, видели их и говорили с ними, прошло почти десять лет. О своих детях они ничего или почти ничего не знали, если что и доходило с воли, то редко и случайно. Из-за революционной работы семейная жизнь их была отрывочной, еще более отрывочными были их отношения с детьми, ничего не успело наладиться и устояться, и, хотя они, как могли, берегли и повторяли всё, что было с ними на свободе, эта часть жизни с каждым годом помнилась им труднее и хуже. Остались

и как бы завершились отдельные истории и воспоминания, но общий облик ушел, и они уже знали, что не смогут вернуть его. Они понимали, что дети их теперь стали совсем другими и того ребенка, которого они видели и любили, нет и не будет. Он давно и без них вырос, да и им самим отсюда больше не выйти.

Еще до того, как в сорок первом году их, выудив из Казахстана, Северного Урала, Норильска и Колымы, перевезли для нового следствия в Курган, примерно за два-три года перед войной, в зоны с оказией всё чаще начали приходить известия, что в Москве, Ленинграде и других городах прошла новая волна арестов, яблоко от яблони недалеко падает, и на этот раз брали уже их детей. Правда, никто из эсеров своих в лагере еще не видел: то ли они сидели по тюрьмам, то ли были на этапе, или система пока работала хорошо и успевала следить, чтобы двое с одной фамилией, одной статьей и одним сроком в один лагерь не попадали. Слухи о новых посадках были очень настойчивы, и они, не зная, правда ли это, думали, что, доведись им встретиться со своими детьми в зоне или здесь, в тюрьме, они встретятся не как отец с сыном, а как взрослые и почти чужие люди, да и не дай бог, чтобы они встретились. Сами они сидели и раньше, до революции, сидят и сейчас, сидят, хоть что-то сделав и худо-бедно понимая, на что шли, а дети их совсем ни при чем, и, значит, сил, чтобы отсидеть срок и выжить, у них не будет. Они неизвестно зачем завели их и так же неизвестно зачем – погубили.

Почти у половины эсеров детей вообще не было, и, когда Сергея посадили к ним в камеру, они впервые после своего детства неожиданно снова оказались так постоянно и рядом с ребенком. Сергей напомнил и восстановил им огромный кусок их собственной жизни, время их свободы продлилось, у некоторых удвоилось и даже утроилось, центр тяжести сместился, и они, оставаясь всё теми же народниками и революционерами, получили еще и другое, на этот раз не партийное прошлое. Но и для тех эсеров, у которых были собственные дети, Сергей был ближе их. Четыре года, проведенные в спецдетдоме, этап, теперь тюрьма сделали его жизнь намного более похожей на их жизнь, чем жизнь их родных детей. Всё, что они знали и умели, весь их лагерный опыт был необходим и, возможно, спасителен для него. Это равно понимали и он, и они, а главное: в том, что он попал сюда, они не были – во всяком случае, напрямую не были – виновны.

Они часто сравнивали Сергея со своими детьми. Попади те сюда, всё, что можно было для них сделать в самых нереальных и фантастических мечтаниях – быть расстрелянными вместо них, весь срок отдавать им свою пайку и жить весь срок, чтобы весь срок отдавать, – всё это было невозможно и несправедливо мало по сравнению с тем, что было у них отнято. Ведь и расстрел они тоже получали за них, за своих отцов, так что, если ты вместо сына пойдешь под пулю, это будет твой, истинно твой расстрел, а он, оставшийся жить в лагере, останется со сроком, который тоже только твой срок, а не его, и не вытянет он этого срока, умрет здесь, в лагере, хоть и не от пули, потому что нет и неоткуда взять ему пока сил, чтобы сидеть за другого.

Схождение Сергея с сокамерниками шло быстро. Детство его уже кончалось, он был на переходе, в том возрасте, который они уже понимали и знали, как себя с Сергеем вести, в котором легко могли вспомнить себя. Между ними и им не было никакого барьера, никакого препятствия, и уже в первый день их совместного сидения, едва узнав его историю, они начали помогать ему и – главное для него после долгого и тяжелого этапа – подкармливать.

Потом, через неделю или через две, привыкнув и уже как бы зная Сергея, относясь к нему как к человеку, которому они делали и хотят делать добро, они осторожно, понемногу станут рассказывать ему о своей собственной жизни, о тех, с кого началось народничество, о подпольной работе, о революции. Они еще не уверены, что это будет для него так же необходимо и справедливо, как для них, что он не обвинит их во всём том, что было после, в том, что есть сейчас. Они боятся его приговора, боятся итога, который он подведет их жизни, им важно, что Сергей нейтрален, беспристрастен, что и он сам, и его родители – не из них.



То, что происходило тогда в камере, было похоже на старые, дореволюционные процессы, которые были для народников и для тех, кто их поддерживал, едва ли не важнее всех заговоров и покушений, процессы, на которых им давали говорить и где они даже могли быть оправданы. Говоря, они вслушивались в него, они были аккуратны, точны и следили за каждым словом; Сергея и их было странно наблюдать вместе. Осторожность эсеров была непонятна: любому было видно, что в его глазах они всегда будут правы, что бояться и таиться им нечего. Потом, хотя и не сразу, они и сами поймут это.

Их рассказы и воспитали Сергея, и я думаю, что он был в большей степени сыном эсеров, чем Наты и Федора. Люди, которые знали Сергея после освобождения, говорили мне, что для него, как и для его учителей, всё кончалось 6 июля 1918 года, самой, как они считали, трагической датой русской истории. Сергей был убежден, что без этой провокации, или восстания (и в восемнадцатом году, и дальше, о том, что такое был левоэсеровский мятеж, высказывались противоположные мнения), Россия пошла бы по совсем иному пути: была бы демократия с двухпартийной системой, без Сталина, коллективизации и террора.

От эсеров он слышал сотни и сотни народнических преданий, никем и никогда не записанных, у него была изумительная память, он знал, начиная с первой «Земли и воли», историю всех споров и разногласий среди народников, знал все обстоятельства покушений и судебных процессов: что говорили обвиняемые, что – защита и прокурор, знал приговоры: ссылка, каторга, Петропавловская крепость, казнь, – и кто шел на эшафот под своей фамилией, а кто так и умер, не назвав себя. Он мог часами рассказывать о Каракозове, Нечаеве, Халтурине, Морозове, Фигнер, Желябове, Кибальчиче. Он справлял их именины, отмечал даты смерти, он жил в той эпохе, среди тех людей, и всё, бывшее тогда, было для него едва ли не реальнее нынешнего. Близкие Сергея говорили мне, что в пятидесятые годы он был, наверное, лучшим знатоком народничества, и не случайно некоторые московские и ленинградские историки приезжали к нему в Пензу, где он жил после лагеря, для консультаций.

Но больше всего Сергей чтит не людей, которых я перечислил, а Николая Васильевича Клеточникова, тайного агента народовольцев в Третьем отделении, сообщавшего им обо всех планах полиции, предупреждавшего и спасавшего их. Почему именно Клеточников так привлекал его, неизвестно. То ли особенностью своей роли, то ли тем, что был старше и неизлечимо болен. Кажется, то, что делал Клеточников, и его возраст, и болезнь, и быстрая – в течение нескольких месяцев после приговора – смерть в Петропавловской крепости от голодовки, и последующий кризис «Народной воли», – всё это легко соединялось им, акценты смещались, Клеточников становился отцом, а те, другие, его детьми, он защищал их и хранил, и умер, когда помочь уже больше не мог.

Еще в курганской тюрьме его удивлявшие сокамерников настойчивые расспросы о Клеточникове – по их памяти о своем детстве, он мог интересоваться так кем угодно, только не им, – породили длинную цепь споров о тайных агентах революционеров внутри полиции и полиции среди революционеров. Эти споры вертелись почти всегда вокруг Судейкина, Дегаева, Азефа, и некоторые из них Сергей хорошо запомнил. Один из сидевших с ним эсеров, Валентин Платонович Старов, человек со странным, без ресниц и бровей лицом, даже подготовил семь тезисов об отношениях полиции и подпольной партии, которые потом долго обсуждались в камере.

Он утверждал:

Первое: между революционерами и полицией было много сходства – в обществе жандармы тоже были на свой лад изгоями, их презирали, ими брезговали, их служба считалась постыдной. И как изгои, и как чиновники, знавшие самые важные тайны режима, знавшие режим изнутри, они лучше других понимали гнилость системы и смотрели на нее почти так же, как революционеры.

Второе: народники и полиция зависели друг от друга, особенно полиция от народников – ее авторитет и положение целиком были связаны с ее успехами в борьбе с «Народной волей», но и успехи эти не должны были быть чрезмерными: успокоение в обществе, падение напряжения, ослабление опасности немедленно приводили к тому, что полиция сразу теряла свое влияние, правительство забывало о ней, а общество вновь третировало и презирало. Эта взаимосвязанность и совпадение интересов – полиции были необходимы народники, необходимы успехи, а не конечная победа над ними – стали основой их будущего – на беду, недолговечного – союза.

Третье: долгие годы борьбы один на один секретной полиции и народников, их узкая направленность друг на друга привели к тому, что они всё больше повторяли и дополняли, всё больше сходились между собой, пока не стали как бы зеркальным отражением друг друга. Многие из народников 70–80-х годов были людьми выдающимися, боровшаяся с ними полиция тоже была по-своему выдающейся, в ней было много талантливых агентов и сыщиков, и, в общем, между революционерами и сыском всегда существовал паритет. Серьезного отрыва ни одна из сторон не добила, ни разу, каждое движение в этом противоборстве вызывало ответное, они всегда шли парами, как филер и объект его наблюдений.

Четвертое: Дегаев и Судейкин первые поняли, что никакого зеркала между полицией и народниками нет, что они нужны друг другу и должны объединиться.

Пятое: боевики, которые были выданы Дегаевым, Азефом и другими провокаторами и погибли, знали, на что шли, в массе своей они были рядовыми бойцами и легко заменялись. Победы без жертв не бывает, кроме того, нет никаких данных, что до Азефа число арестованных было намного меньшим. В любом случае в сравнении с деятельностью партии, которая никогда не была такой успешной, как при Азефе, число это никак не выглядит чрезмерным. Вне сомнений, союзная деятельность полиции с народниками, а потом эсерами, совместная подготовка ими целого ряда покушений в огромной степени расширяла возможности террора и одновременно дискредитировала правительство, ослабляла и разлагала власть.

Шестое: наличие провокаторов в подпольной партии всегда велико и неизбежно. Провокаторы легче и быстрее делают партийную карьеру. Полиция может и широко помогает им в приобретении репутации (успешные акции, побеги), основных соперников своих людей она легко дискредитирует или просто изымает с помощью арестов. Естественно, такое положение трудно назвать нормальным, но партия, находящаяся в подполье, и не может сковывать себя нормами – слишком опасно и неустойчиво положение. В условиях подполья лидеры партии, пускай даже ставшие ими с помощью охраны, – действительно наиболее успешные и полезные ее члены. Они нуждаются во всемерной защите, и следует признать, что деятельность известного Бурцева и помогавшего ему директора департамента полиции Лопухина, разоблачивших Азефа, с одной стороны, нанесла страшный удар по престижу партии, а с другой – укрепила правительство.

И, наконец, седьмое: все революции начинались как провокация охраны, но дальше, если почва была подготовлена – суть именно в этом, – события выходили из-под контроля полиции и народ побеждал.

Еще в конце осени сорок второго года по многим признакам стало видно, что передышка, дарованная войной, кончается. Первым начали водить на допросы Сергея. Следователь вел дело вяло, расспрашивал его, как он попал в спецдетдом, как оказался в женском эшелоне, заговаривал и о сокамерниках, но интересовался больше не политикой, а что за люди. Эсеры готовили Сергея к допросам, и он то ли благодаря этим урокам, то ли из-за мягкости следствия держался, кажется, хорошо. В августе сорок первого, незадолго перед тем, как Сергея посадили к ним в камеру, эсеры решили использовать то, что они собраны в одном месте, и провести первую за последние десять лет партийную конференцию внутри России. Появление Сергея и правила конспирации остановили эти планы, теперь, когда его почти каждый день водили

на допросы, конференция снова стала возможной и была открыта 30 ноября 1942 года. Всего состоялось шесть заседаний.

На первом было решено, что данная конференция будет иметь все права съезда, была выработана повестка дня и начались прения. Обсуждались три вопроса. Первый: положение партии в настоящий момент, второй: выборы председателя и ЦК, и последний: прием в партию Сергея Федоровича Крейцвальда.

По первому вопросу выступали все эсеры. Большинство сошлось на том, что сейчас партия переживает тяжелый кризис: огромна убыль членов, причем в первую очередь наиболее испытанных и активных бойцов, почти нет притока новых сил, возможности эсеров влиять на положение дел в стране минимальны, связи между отдельными членами партии, как находящимися в заключении, так и на свободе, заморожены, нет контактов между эсерами, живущими в России и в эмиграции, – но в то же время положение далеко не безнадежно. Полугодовой опыт бесед с Сергеем Крейцвальдом показал, что идеи и программа народников по-прежнему чрезвычайно популярны и в случае начала широкой пропаганды привлекут тысячи и тысячи новых бойцов. Необходимо при любой возможности, не считаясь ни с каким риском, стремиться к распространению взглядов народников, к увеличению численности партии и, конечно, к омоложению ее рядов.

На последнем заседании конференции, 24 декабря, был решен вопрос о приеме в партию Сергея Крейцвальда. Он вызвал острые разногласия по двум причинам. Первое: от него не поступило формального заявления, второе: он еще ничем не успел зарекомендовать себя. Оба возражения были между собой тесно связаны. Все эсеры знали, что Сергей мечтает быть принятым в партию, но, считая, что пока не проявил себя в деле и, следовательно, не достоин, подавать никакого заявления не будет. После долгих споров большинством голосов – семь против пяти – было решено, учитывая только что утвержденную резолюцию о курсе на омоложение, принять Сергея Федоровича Крейцвальда в ряды левых эсеров, но, чтобы не ставить его под дополнительный удар, сообщить ему о результатах голосования только после окончания следствия по его делу.

В тот же день был выбран новый председатель партии и ее ЦК в составе пяти человек и постановлено, что, так как в настоящий момент социалисты-революционеры лишены возможности проводить конференции и съезды в соответствии с обычной практикой, пополнение ЦК в случае гибели одного или нескольких членов будет производиться путем автоматической кооптации из числа эсеров, сидящих в этой камере, в строгом соответствии с их партийным стажем. То же правило распространяется и на пост председателя партии.

До 29 декабря дело Сергея тянулось всё так же медленно и, по расчетам, должно было продлиться еще никак не меньше месяца. В этот день его, как обычно, водили на допрос, но уже через час вернули обратно, а в полдень пришли снова и велели собираться, на этот раз с вещами. Своего у него совсем ничего не было, эсеры надавали ему кто что мог, в основном – теплое, они обнялись, простились, и его сразу же увели.

Допросы велись в невысоком трехэтажном здании спецчасти, замыкавшем тюремный двор с севера. Сейчас они с охранником снова пересекли его, вошли в спецчасть, но подниматься на второй этаж, где находились кабинеты следователей, не стали. Через две защищенные стальными решетками двери с маленькими окошками для пропусков его вывели прямо на улицу, на другой стороне которой, точно напротив спецчасти, находилось здание областного суда. Ускоренное судопроизводство не заняло и полчаса: ему дали двенадцать лет за сотрудничество с контрреволюционной партией эсеров, немедленно после оглашения приговора отвезли на вокзал, сдали конвоем и отправили в один из лагерей под Новокузнецк.

После полутора лет сложившейся, почти неизменной жизни, от которой в его памяти не осталось никакого ощущения времени, даже времен года, никаких событий и ориентиров, сохранились только разговоры, которые он, помня, кажется, все, никогда, как ни старался, не

мог датировать или хотя бы установить их примерную последовательность, – сразу за этой медленной жизнью, завершая и отрезая ее, шло 29 декабря. Всё, что составило этот день, – допрос, возвращение в камеру, то, как его снова, на этот раз окончательно, забрали, суд, вокзал, эшелон – было так странно быстро, что только в середине января, уже две недели находясь в лагере, он наконец понял и восстановил то, что с ним произошло.

Прощание Сергея с сокамерниками было коротким, в камере всё время присутствовал надзиратель, и эсеры не захотели или, скорее, не сумели сказать ему о том, что пять дней назад он стал их товарищем, и он так никогда и не узнал, что 24 декабря был принят в члены партии левых эсеров. Не узнал Сергей и того, что в марте следующего, сорок третьего года, когда все, кто сидел с ним вместе в камере курганской тюрьмы, были расстреляны, он, последний из оставшихся в живых, стал в соответствии с решением партийной конференции членом ЦК и председателем партии.

В лагере, восстанавливая 29 декабря, он труднее всего вспоминал суд. То, что говорили прокурор и судья, вопросы, которые ему задавали, обвинительное заключение, приговор – двенадцать лет за сотрудничество с эсерами, – всё, как и тогда, пять лет назад, когда за ним пришли в первый раз, пришли прямо перед тем, как он должен был идти на вокзал воровать, чтобы накормить себя и брата, было непонятно и необъяснимо справедливо. Это сознание правильности и справедливости всего, что с ним было, его вера в умение органов предвидеть и предупредить любое преступление, во всяком случае – его преступления, мешало ему, и он до конца жизни так никогда и не почувствовал себя прочно стоящим на земле.

Лагерь, в который Сергей попал и в котором он отсидел весь свой срок до дня освобождения, находился рядом с поселком Бугутма, в сорока километрах на север от Новокузнецка. Здесь еще за несколько лет до войны была построена довольно большая фабрика, выпускавшая шпалы и крепь для горных выработок. С началом войны, осенью сорок первого года, когда после мобилизации работать на ней стало некому, через поле от фабрики соорудили зону, поставили вышки, комендатуру, четыре больших, из хорошего дерева, барака – здесь всем повезло – и к ноябрю, заселив лагерь, снова пустили ее. После войны на фабрике мало что изменилось. Как и раньше, на ней работали почти одни заключенные, и так они за эти годы сроднились – лагерь и фабрика, так приладились друг к другу, что, наверное, и сейчас всё в Бугутме по-старому: те же разводы, те же смены, та же работа.

Освободился Сергей в самом конце пятидесяти четвертого года, но уезжать никуда не стал. Он не пытался вернуться в Москву, не разыскивал никого из родных, не написал ни по одному из адресов, которые дали ему эсеры и которые он, несмотря на двенадцать прошедших лет, помнил все. Он остался здесь, в Бугутме, и больше года проработал вольнонаемным на той же фабрике.

Тюрьму и лагерь он знал, здесь он вырос и выжил, значит, знал неплохо, он привык ко всему тому, что было лагерем, к ходу лагерной жизни, к ее правилам, к тому, что здесь было важным и за что следовало бороться, и теперь, когда надо было начинать всё сначала, он сразу решиться на это не мог. Как и другие, он мечтал о свободе, мечтал быть свободным и жить там, где живут свободные, вне зоны, вне лагеря, но всё равно и тогда лагерь был для него в центре всего, в центре любой свободы и он с трудом мог представить, что живет где-нибудь, где рядом нет лагеря.

Лагерь по-прежнему тянул его, и он каждый день вечером, после конца фабричной смены, когда заключенных уводили обратно в зону, ждал час или полчаса, пока всё успокоится, и шел за ними. Он доходил почти до самых ворот, здесь сворачивал и начинал кругом обходить лагерь. Везде было совсем темно, и только от прожекторов, ярко освещавших зону, сюда доставало немного света и были видны длинные, как при луне, гладкие полосы снега и неровные, вдавленные в него тропинки. Зимой он старался держаться как можно ближе к лагерю, но к лету его круги расширились, теперь внутри них оказался и небольшой березняк, и такое

же небольшое болотце, путь его удлинился, и он всё чаще стал возвращаться в Бугутму уже к ночи. Все-таки и после лета он прожил здесь целую осень и половину зимы, и только в январе пятьдесят шестого года вдруг понял, что свободен, что его никто не держит, в один день взял расчет, на попутке добрался до Новокузнецка и сел в первый же поезд, идущий в Россию.

В камере курганской тюрьмы вместе с ним сидел Федор Васильевич Лужков, из всех эсеров, кажется, самый старый, первый раз он арестовывался еще в 1889 году. У Лужкова была жестокая астма, по ночам он задыхался, хрипел, но к утру приступ обыкновенно проходил, он звал Сергея сесть к нему на нары, и они часами то рассказывали друг другу о своем детстве, то просто хвастались им. Разговоры эти почти всегда кончались тем, что они принимались уличать друг друга во лжи, ругались, и Сергей уходил на свое место. На следующий день они обыкновенно мирились. Такие разговоры он вел только с Лужковым. Почему – не знаю. Кажется, тот тоже рано лишился родителей, чуть ли не в том же возрасте, что и Сергей, в десять лет, и так же сразу обоих: они умерли в одну неделю в Одессе во время вспышки холеры. Это равняло их. Друг о друге они знали почти всё. Только о времени, которое было рядом со смертями и арестом, они не говорили ни разу, ни разу не касались его. Из осторожности они даже создали здесь запретную полосу в несколько месяцев шириной, защитный кокон, после которого их жизнь начиналась как бы заново и была уже совсем другой.

В первые годы своей лагерной жизни Сергей чаще всего вспоминал именно Лужкова. Обычно он представлял его братом, своим и Николая. Звали Лужкова так же, как их младшего брата, – Федором. Федора, родившегося всего за год до ареста родителей, Сергей знал совсем мало, и это совпадение имен было для него очень удобным. Он вспоминал вместо Федора, которого помнить не мог, Лужкова, замещал Федора Лужковым, и их всё равно, так же как и на самом деле, было три брата: Николай, Сергей и Федор.

Так продолжалось несколько лет. Потом, когда помнить Москву, родных, всё, что было с ним до заключения, до спецдетдома, ему, как и другим, стало всё труднее (в немалой степени из-за той путаницы, которая была связана с Федором и Лужковым), он недолго думая соединил свои воспоминания с его, соединил свое и его детство, а Лужкова помнил после этого уже только взрослым и не выделял из других эсеров.

В лагере Сергей вообще старался всё, связанное с эсерами, слить воедино, вспоминать и помнить их – только вместе. Психологи, занимающиеся детьми, говорили мне потом, что так и должно было быть: ребенок всегда хочет, чтобы его родители были вместе, и, если семья нормальная, они и воспринимаются им только вместе. В этом – основа его уверенности в себе. В сознании ребенка родители всегда слиты, он никогда не делит их и больше всего на свете боится противопоставить друг другу и обидеть. Если от него добиваются ответа, кого он больше любит – маму или папу, он или говорит «не знаю», или «и маму, и папу».

В лагере помнить эсеров вместе и не разделять их Сергею помогало идущее от партии единство их взглядов, созданное заключением сходство судеб и то, что при нем они жили и были действительно всегда вместе, всегда в одной камере. Теперь, когда Сергей был на свободе, ехал и мог ехать куда угодно, его общая память о сидевших с ним почти сразу же начала распадаться. У каждого эсера были свои родные, свой дом со своим адресом, и эти адреса, которые в тюрьме помнились и говорились ему просто так (никто из них не надеялся ни на скорое освобождение Сергея, ни тем более на свое), теперь вдруг сделались самым важным. По ним, по этим прежним местам жительства, они и стали дробиться и расходиться в разные стороны.

Вместе с Сергеем на свободу вышла какая-то часть жизни его сокамерников, приговор «без права переписки» был нарушен, и теперь он должен был или быть, или написать по каждому из данных ему адресов, по каждому – свое, чтобы то, что он знал о сидевших вместе с ним, то, что помнил о них, разошлось и дошло до их родных. По адресам Сергей и разделил их на фракции: московская, ленинградская, киевская...

Первой была пензенская. В расписании, висевшем в вагоне, значилось, что поезд идет в Москву через этот город. В Пензе жили, или, во всяком случае, двенадцать лет назад жили, родные Лужкова – жена Нина Петровна и дочь Александра. О своей дочери Лужков много рассказывал, тогда ей было около тридцати лет, теперь – больше сорока. В поезде Сергей решил, что сойдет в Пензе, и там же, в поезде, думая и вспоминая Лужкова, как бы готовясь к встрече с его женой и дочерью, он отделил свое детство от его и вернул взятое у Лужкова.

До Пензы они ехали больше трех суток. После Урала почти всё время шел снег, несколько раз их останавливали, и они подолгу ждали, когда расчистят путь. Только на правом берегу Волги или снега наконец стало меньше, или его уже успели убрать, поезд пошел быстрее. В Пензу они прибыли в четыре часа дня, было еще совсем светло, и Сергей решил, что сначала, до Лужковых, он пройдет и посмотрит город.

Выйдя из здания вокзала, он пересек площадь и у трамвайной остановки, так же, как пути, взял направо. Вслед за трамваем он повернул на довольно большую улицу, начинавшуюся странным нежно-розовым домом. Улица, как и всё вокруг, была завалена снегом и от этого казалась особенно широкой и пустой. С обеих сторон она была обсажена деревьями – липами или тополями, с толстыми и от того же снега двухслойными ветвями. Дома – трехэтажные, старые, но еще совсем крепкие, – стояли плотно, часто без проходов, и было видно, что строили их в одно время, что они сжились и подходят друг другу.

Снегопад кончился, и почти везде дворники уже сгребали снег, но и там, где они вовсе убрали, и там, где пока еще не начали, люди двигались медленно и старались наступать только на узкую, обозначенную песком дорожку. Трамваи тоже шли медленно и всё время звонили. По этой улице Сергей дошел почти до самого берега реки; здесь, на взгорке, и улица, и дома, и пути сразу кончались, кончался и город. Улицу продолжала тропа, которая круто вниз спускалась в пойму Суры. Весной, во время паводка, всю эту низину, наверное, затопляла вода, и поэтому тут никогда ничего не строили. За рекой начиналась другая, еще не признанная часть города, больше похожая на довесок.

Отсюда, с высокого правого берега, она была видна почти вся. Моста не было, и люди такой же тонкой черной, как и в городе, цепочкой перебирались через Суру прямо по льду и там, на той стороне, делились и расходились по переулкам. Спускаться вниз ему было незачем, и Сергей повернул на улицу, которая шла вдоль реки. В конце ее еще отчетливо, несмотря на сумерки, была видна высокая белая церковь. Там только что начали звонить. Это была самая окраина города, дома сплошь маленькие, и, хотя церковь стояла далеко, они не заслоняли ее.

Когда Сергей дошел до церкви, было уже совсем темно. Войдя в храм, он остановился у самого входа и стал смотреть службу; народу было мало, и внутри почти так же холодно, как на улице. Слов он не понимал и не особенно в них вслушивался, только крестился вместе со всеми и думал, что ему сейчас надо идти к дочери Лужкова и говорить ей, что ее отца нет в живых, нет, скорее всего, уже много лет. Он думал о том, что и Лужков, и все они наверняка были крещенные, что, где и как они похоронены, никто никогда не узнает, что они хотели людям добра и, по-видимому, будет правильно, если он попросит, чтобы среди людей, которых здесь поминают, упомянули и их.

У старушки, которая стояла рядом с ним за свечным ящиком, он спросил, как это сделать, и она сказала, что надо заказать молебен – написать на бумажке имена всех, за кого он хочет, чтобы священник помолился, и завтра во время утренней службы батюшка прочитает их, надо только указать, за здравие или за упокой. Сергей написал «за упокой», потом все имена, дал ей бумажку, дал деньги за молебен – и вдруг понял, что это неправильно, что кто-нибудь из них, может быть, жив, что в лагерях бывало всякое и молиться за упокой живого нельзя. Он снова спросил ее, как ему быть, если он не знает, живы эти люди или умерли, она была недовольна, что он мешает ей слушать Евангелие, отвечать ничего не стала, долго молчала и только когда

кончилась служба, сказала, что, если не знает, надо молиться за здоровье и надеяться. Сергей зачеркнул «за упокой», написал «за здоровье», отдал ей листок и вышел на паперть.

Было совсем поздно. Здесь же, у церкви, ему объяснили, где находится улица, которая была указана в его адресе. Сергею надо было вернуться обратно к трамвайным путям и от конечной остановки, так же, как те люди, которых он уже видел, спуститься вниз, перейти на другую сторону реки, а там ему покажет каждый.

До дома Лужковых Сергей добрался только в одиннадцатом часу. Постучал, дверь ему открыла немолодая женщина с серыми то ли от света, то ли от седины волосами, и, входя, он уже знал, что это и есть Александра. Она была похожа на отца, хотя сказать, чем, ему было бы трудно; он только удивился, что она намного старше, чем он думал. Все-таки он сказал, кто ему нужен, назвал ее по имени-отчеству – Александра Федоровна, услышал и ответ: «Входите, это я» – и сразу понял, что никого у нее нет, что она по-прежнему ждет, что вернется отец, ждала его и сегодня – а пришел он, Сергей. Но всё же он пришел от ее отца, и отец ее был к нему привязан, сам дал ему этот адрес, сам хотел, чтобы он поехал сюда, – и, значит, какая-то правда в том, что он здесь, наверное, есть. Она пригласила его в комнату, поставила на керосинку чайник, села напротив, и он стал рассказывать ей то, что знал о ее отце. Они проговорили тогда и вечер, и ночь, и кончили только утром, когда ей надо было идти на работу.

В этом их первом разговоре курганской тюрьмы было мало, Лужков там был вместе со всеми, вычленять его было трудно и не надо, и Сергей, понимая это, чувствуя, чего она от него ждет, просто одну за другой, подряд, пересказывал ей истории Лужкова о его детстве. Когда-то сам Лужков рассказывал их Александре, и в ней они были связаны, начинали и кончали все те недолгие перерывы между его арестами и подпольем, когда они были вместе – он, мама, она – и жили, как другие, не скрываясь и не таясь. Она знала и помнила их все – и теперь слушала Сергея, как когда-то отца. Потом, через день или через два, когда они уже говорили о Кургане, она сказала ему, что мама умерла еще в сороковом году, что, кроме Старова, все люди, которые сидели с ним в камере, ей знакомы, она переписывается с их родными и знает, что никого из них пока не освободили, ни о ком ничего не известно с последних предвоенных лет. Она сказала ему, что после смерти матери живет совсем одна, что у нее есть пустая и ненужная ей комната и, если у Сергея нет никаких планов и его никто не ждет в Москве или в каком-то другом городе, отец и она будут рады, если он поселится в этом доме.

Недели через две после не очень сложных хлопот (шел пятьдесят шестой год) ей удалось прописать Сергея у себя, и он сразу же устроился на маленькую мебельную фабрику, расположенную тут же, на соседней улице. На этой фабрике Сергей отработал больше года, а потом Александра обучила его переплетному делу, и его взяли в областную библиотеку, в которой работала она сама. Работы в библиотеке было немного, и Сергей почти весь день читал, сначала, по словам Александры, бессистемно, в основном те книги, которые ему давали переплетать, но в конце концов понял, что она права, такое чтение – пустая трата времени, и читал дальше уже только по плану, который Александра ему составила.

Пятьдесят шестой, пятьдесят седьмой и первая половина пятьдесят восьмого года были для Сергея очень плодотворны. Он говорил тогда Александре, что неизменный распорядок лагерной жизни, однозначность того, что надо было делать, чего хотеть и за что бороться, кажется, сохранили и сберегли ему много сил, и теперь он чувствует, как они возвращаются. За эти два с половиной года им была прочитана масса книг – и классика, в основном русская, и десятки томов народнической литературы, которую он, по совету Александры, начал изучать с французских утопистов, потом читал и частично конспектировал Гегеля, Фейербаха, Спенсера, Бокля, и только после них перешел к работам русских народников, идя строго по порядку от Герцена и Чернышевского к Чернову и Гершуни.

Но главным делом, которым Сергей занимался в Пензе, была своего рода энциклопедия народничества. Он задумал ее еще в Бугутме, и здесь, в Пензе, начал делать вместе с Алексан-

двой и ее единственным близким другом Ириной Пестовой, тоже дочерью старого эсера. Отец Ирины умер в сентябре двадцать восьмого года в своей постели, умер вовремя, буквально за день до новой волны арестов. Четвертым человеком, который работал с ними, была дочь Ирины Вера. Она была старше Сергея на три года и, как я понял по некоторым глухим намекам, скоро стала его гражданской женой. Похоже, что этим браком или его неофициальным характером были недовольны и Александра, и мать Веры Ирина, но почему, выяснить мне так и не удалось. Сама Вера умерла в шестьдесят третьем году, за двадцать лет до того, как я попал в Пензу.

Сделать они хотели следующее: 1) составить полную библиографию книг и статей, так или иначе относящихся к народничеству; 2) выявить всех лиц, принимавших участие в народническом движении, и собрать как можно более подробные сведения о каждом из них; 3) найти и записать устные предания о движении, побудить и договориться об этом со всеми людьми, кто сам или чьи родные были когда-то народниками.

Имена и первые краткие сведения они находили по большей части, просматривая сплошным, начиная с 1855 года, подшивки московских, петербургских, а также тех местных газет, которые были в пензенской библиотеке. Наиболее ценный материал они находили в отделе судебной хроники. Вторым их источником были журналы, прежде всего – номера «Былого» со статьями, воспоминаниями и, главное, «Современной летописью» – краткой историей людей, дел, арестов и приговоров, а также другой, давно уже прекративший издаваться журнал «Каторга и ссылка». Третий источник – книги и мемуары.

На каждого из найденных революционеров они заводили отдельную карточку, в которую заносили следующие данные – фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, социальное происхождение, членство в кружках и организациях, важнейшие акции, в которых участвовал, аресты, процессы, по которым проходил, приговоры и, если не был казнен, места, где их отбывал. Каждая карточка кончалась библиографией.

Александра говорила мне, что всякое новое имя было для них праздником: оно значило, что не только восстановлена справедливость и найден человек, который боролся, погиб за счастье других людей и был ими забыт, но и их самих как бы стало больше. Каждую такую находку они отмечали, собирались вместе, и тот, кем она была сделана, рассказывал сначала о своих розысках, потом зачитывал всё, что теперь известно об этом человеке, и они минутой молчания отдавали ему память.

Со слов Александры я знаю, что с людьми, которых находили, было связано и одно странное требование Сергея. Из лагеря он вернулся, по всей видимости, верующим, сам часто ходил в церковь – и настаивал, чтобы раз в месяц в церкви Бориса и Глеба (она была недалеко от дома Александры, хотя и на другом берегу реки) заказывался молебен за упокой их душ. И она, и Александра были против молебна не только потому, что на это уходило много денег, но, главное, потому, что большинство народников были или безразличны к религии, или убежденные атеисты. Только Вера соглашалась с Сергеем, который говорил, что Христос – из народников, что он хотел того же и погиб так же, как они, и, хотя всё равно было непонятно, почему, даже если это так, ему надо молиться, – они подчинялись Сергею.

13 июля 1958 года, в день, в который 75 лет назад в Алексеевском равелине Петропавловской крепости скончался Николай Васильевич Клеточников (день этот по заведенному у них порядку был как бы днем общей памяти по всем погибшим), Сергей сказал им, что работа над энциклопедией идет хорошо, работа налажена, они знают, что и как делать, и двигаются быстро, не за горами уже 1905 год. Но есть одно «узкое» место – устные предания; в них – душа народничества; то, что они знали и записали, – капля в море, а корреспонденты их, несмотря на настойчивые просьбы, не прислали почти ничего. Работу, которую они делали и делают, смогут сделать и другие; газеты, журналы, книги никуда не денутся, а предания умирают вместе с людьми, людей этих осталось мало и с каждым днем становится всё меньше. Вот и вчера Александра получила письмо из Киева: умер Петр Трифонович Гонтов, который



участвовал в народнических кружках еще в конце восьмидесятых годов. «Думаю, – сказал Сергей, – что новые письма и новые просьбы ничего не дадут, кому-нибудь из нас надо ехать к людям, адреса которых у нас есть, и записывать их рассказы. Поездка будет долгая, только по Европейской России – никак не меньше полугода, и в сложившихся обстоятельствах проще всех ехать, кажется, мне». И Александра, и Ирина, и Вера согласились с ним.

Через месяц Сергей уволился с работы и в начале сентября тронулся в путь. Маршрут его был такой: Саранск, Горький, Москва, Ленинград, Минск, Киев, Одесса, Ростов, Харьков, Курск, Воронеж, Сталинград, Саратов, Куйбышев, Пенза. В последний день своего двухнедельного пребывания в Москве он нашел дом, в котором когда-то жил, потом поехал на Немецкое кладбище, где, как он помнил, были похоронены его дед Иоганн и бабушка Ирина. День был будний, сторож новый, кладбищенская контора закрыта; он долго ходил по кладбищу и, так и не найдя их могилы, вечером уехал в Ленинград.

Во всём, что касается дела, его поездка была очень успешной. Еще у Александры, в день смерти Клеточникова, говоря о том, для чего и куда он едет, он сказал только часть того, что хотел. Уже тогда он думал о восстановлении партии левых эсеров в России. В Пензу он вернулся не только с десятью толстыми тетрадами записей, но и убежденный, что время это прошло. По словам Александры, она никогда не видела его таким бодрым, деятельным и веселым, как в первые дни после возвращения.

В Пензе и она, и Ирина, и Вера встречали его на вокзале, потом все вместе поехали к ней, и дома Сергей еще до всяких разговоров сказал им, что съездил очень удачно, привез много интересного и через месяц уезжает снова, на этот раз на Урал и в Сибирь. Приехал Сергей в субботу, а на следующий день утром они уже начали перепечатывать и править то, что он собрал. Работа была большая и из-за его плохого почерка шла медленно; все-таки он надеялся, что они успеют кончить до его отъезда.

Недели через две, кажется, тоже в субботу, когда первые пять тетрадей были уже перепечатаны, пришла девочка, разносившая на их улице почту, спросила, здесь ли живет Сергей Федорович Крейцвальд, и, когда Сергей вышел, передала ему повестку местной Пензенской прокуратуры. Она была датирована 12 марта, а явиться он должен был 16-го. Он прочитал ее и тут же ушел в свою комнату. Через час он вышел и сказал, что Вера должна немедленно идти домой и собрать в чемодан все материалы об эсерах, пускай будет очень осторожна и, если заметит что-нибудь подозрительное, сразу возвращается. То же самое он попросил сделать и Александру. Через полчаса он взял чемодан и уехал, заходил к Вере, у которой тоже забрал чемодан, предупредив, чтобы его не ждали.

Трое суток Сергея не было, они уже были уверены, что он или арестован, или решил бежать, но за два часа до указанного в повестке часа он появился. Дома он переделался в свой единственный костюм, сказал, чтобы его не провожали, и поехал в прокуратуру. По виду он был возбужден и, пожалуй, даже весел, и они поняли, что все материалы ему удалось спрятать. На его просьбу не ездить к прокуратуре они не обратили внимания и через полчаса после него поехали следом.

Сбоку от областной прокуратуры, рядом с жилым домом, был небольшой сквер с детской площадкой, грибком, ледяной горкой и тремя заваленными снегом скамейками. Одну из них они начали чистить, но внизу оказался лед, и они, едва втиснувшись, пересели под грибок. Скоро пошел густой мокрый снег, по временам его сильно кружили порывы ветра, и тогда не было видно ни рядом стоящего дома, ни улицы, ни прокуратуры. Вера, боясь, что они пропустят его, хотела дежурить у входа, но и Александра, и Ирина сказали ей, что ходить туда не надо, раньше чем через два-три часа он всё равно не выйдет. Но вышел Сергей через час, они прозевали его – и заметили совершенно случайно, когда он проходил мимо сквера.

Ирина узнала его по белой парусиновой кепке, которую Сергей проносил всю зиму, и, еще не уверенная, что это он, окликнула; он не отозвался, но они уже видели, что это Сергей, и

побежали за ним. На углу улицы они догнали его и стали в три голоса спрашивать, что и как; он не отвечал и, кажется, вообще не видел их. Выглядел он совершенно больным. Вера заметила, что он держит в руке какую-то заметенную снегом бумажку, взяла ее и, пробежав глазами, начала читать: «Справка. Дело по обвинению Крейцвальда Сергея Федоровича пересмотрено военной коллегией Верховного суда СССР 13 ноября 1958 года. Приговор военной коллегии от 29 декабря 1942 года в отношении Крейцвальда С.Ф. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Крейцвальд С.Ф. реабилитирован. Начальник секретариата военной коллегии Верховного суда СССР подполковник юстиции И.Полиецкий».

Смысл этой справки они поняли не сразу, не сразу поняли, что именно из-за нее его и вызывали в прокуратуру, что там от него ничего больше не хотят и не будут его ни допрашивать, ни арестовывать, ни сажать. Они стали целовать его, Вера что-то кричала, размахивала бумажкой и, кажется, готова была танцевать. Потом Ирина поймала такси, и они поехали к Александре; ехали из-за снега долго и медленно, с объездом через весь город, по единственному мосту, который вел на другой берег Суры. Дома Сергей сказал, что неважно себя чувствует и пойдет ляжет. Вера хотела пойти с ним, но он повторил, что хочет остаться один и идти не надо.

Еще тогда, три дня назад, когда он получил повестку из прокуратуры, к нему стало возвращаться его старое сознание, что органам всегда и всё про него известно, что для органов он – открытая книга. Но в тот день было так очевидно, что он должен был делать, что он должен действовать, в нем было еще так много сил и эти силы были ему нужны, чтобы собрать, увезти и спрятать все материалы, надо было сделать это быстро и ловко и быть готовым, что за ним уже, возможно, следят, постараются его задержать, всё это ему удалось, всё сошло гладко, непосредственные улики были скрыты, и только уже в прокуратуре, когда он показывал милиционеру свою повестку, он вдруг понял, что то, что было в последние три года – и история эсеров, и его поездка, люди, с которыми он встречался, разговоры, которые он вел, придуманная им новая эсеровская партия: программа, правила конспирации, явочные квартиры, партийная касса, боевики, активные члены, сочувствующие, – всё, что он делал, и он сам были приманкой, на которую органы ловили и Александрю, и Веру, и Ирину, и всех-всех связанных с ним.

Еще с десяти лет, со дня своего первого ареста, он был «засвечен», знал, что «засвечен», и, значит, по первому правилу конспирации не имел права ни встречаться ни с кем, ни видаться, он был заразен и должен был жить один. Он думал обо всем этом, думал о том, что ему не надо было уезжать из Бугутмы, и когда ждал своей очереди в приемной прокурора и в его кабинете, когда тот длинно, почти дословно повторяя доклад Хрущева, говорил ему о культе личности, а потом вручал справку о реабилитации. Справка, которую ему дали, ничего не меняла. Она означала только одно: или на свободе он нужен им больше, или им пока просто не до него. Дома, оставшись один в своей комнате, он начал пытаться забыть или хотя бы так перепутать и исказить в памяти имена, факты, даты, чтобы ни понять, ни восстановить ничего было нельзя.

После его вызова в прокуратуру прошло десять дней. Всё это время Сергей почти не вставал и не выходил из дома. Выглядел он ужасно – худой, с многодневной щетиной, всё в том же костюме, в котором он ходил в прокуратуру и который, кажется, так и не снимал. С ним явно было хуже и хуже, и Вера, не зная, что делать, наконец решилась обратиться к своей старой, еще со школьных лет, подруге, которая теперь работала врачом в психоневрологическом диспансере. Подруга приехала на следующий день, долго разговаривала с ними о Сергее, спрашивала о всяких подробностях: кто, откуда, где и как познакомились, для отдельного разговора увела Веру на кухню и только потом пошла к нему.

Была она у Сергея совсем недолго и, вернувшись в комнату Александры, уже за чаем сказала им следующее: сейчас все психдома буквально забиты больными, волна куда больше,

чем в сорок пятом году. После десяти – двадцати лет лагерей адаптироваться к нормальной жизни очень трудно, связи разорваны, родных не осталось, а тут еще реабилитация, жизнь человеку дана одна, и каково ему, когда объясняют, что половину ее у него отняли неизвестно за что. У Сергея тот же шок, что и у других больных, но состояние очень тяжелое, сильная депрессия, и, если в ближайшие два-три дня не будет улучшения, его надо госпитализировать. В областной психиатрической больнице у нее есть знакомый врач, работает он в отделении хроников, завтра она поговорит с ним и думает, что он согласится взять Сергея к себе. Состояние его продолжало ухудшаться, и 29 марта Сергей по настоянию Александры и Ирины – сам он тоже этого хотел – был положен в больницу. Против госпитализации была только Вера. Весь день накануне отъезда и утро, пока они ждали машину, она провела у него, плакала, умоляла отказаться и не ехать.

Через три дня, в пятницу, Вера больше часа говорила с его лечащим врачом, и он сказал ей примерно то же самое, что раньше подруга. У больного глубокий шок, натура, по всей видимости, очень деятельная и энергичная, шок парализовал ее, но организм продолжает вырабатывать силу и энергию, выйти ей некуда, и она давит, разрушает его самого. Сейчас самое главное – вывести Сергея из этого состояния, тогда будет ясно, что делать с депрессией.

Три месяца Сергея усердно кормили разными препаратами, добились улучшения, но до выздоровления еще было далеко. С июня дозы постепенно начали уменьшать до поддерживающего уровня, и врач даже спрашивал его, не хочет ли он рискнуть и месяц пожить дома. Он отказался. Осенью ему снова стало хуже, и разговор о выписке возобновился только в июле следующего года. С июня по сентябрь, когда Сергей чувствовал себя лучше, он так же, как и другие больные, много гулял в маленьком, примыкающем к отделению садике и скоро познакомился и подружился с лежащим в том же отделении Ошером Натановичем Левиным.

Этот Левин когда-то был довольно известным художником. Ученик Машкова, он участвовал в двух последних выставках «Бубнового валета», и у нескольких московских коллекционеров, собирающих «Валета», я видел его работы. Это всегда цветы и всегда или только что распустившиеся, или уже увядшие. И еще одна странность: цветы Левина были как бы порченные. В каждой из его вещей есть совершенно чужая ей деталь, ее ты и видишь первой, и такое ощущение, что сама картина сбивает тебя и мешает смотреть ее. Лучший в Москве знаток «Бубнового валета» Александр Николаевич Соколов, в коллекции которого есть пять работ Левина, говорил мне, что Машков называл эти детали «печатью Каина».

Все картины Левина, которые я видел у Соколова, были датированы самое позднее серединой двадцатых годов, и действительно, он говорил Сергею, что в конце двадцать пятого года уехал из Москвы в Белоруссию, в Кричев, город, откуда был родом. Назад он вернулся с пятилетним сыном, мать которого – кажется, натурщица, – умерла в двадцатом году от холеры, когда ребенку не было и трех месяцев, и которого он растил один.

В Кричеве жили его отец и старшая сестра. Сестра Левина была незамужней, в детстве ожог изуродовал ее лицо, детей у нее не было. Еще в двадцатом году она хотела поехать к брату в Москву и увести ребенка в Кричев, или, если Ошер не согласится на это, остаться жить у него, но тогда умерла их мать, отец болел, и оставить его было нельзя. Только в двадцать пятом году Левин после своей первой персональной выставки, очень неудачной, наконец послушался ее и возвратился домой.

Семья Левина принадлежала к одному из самых уважаемых в Белоруссии раввинских родов. Их прямым предком был знаменитый рабби Бэр из Меджибожа, любимый ученик Баал Шем-Това и один из основателей хасидизма. Отец Левина Натан, тоже хасид, был общинным раввином больше тридцати лет, пока в двадцать девятом году не оставил свое место из-за болезни. У него был тяжелый артрит, и он почти не выходил из дома. Раввинами стали и старшие братья Ошера Давид и Самуил, уехавшие из России еще до революции: один – в Палестину, другой – в какой-то западный штат Америки.

В Кричеве Ошер устроился работать в школу учителем рисования; часов у него было мало, и он всё время проводил с отцом, скучающим без старших детей, без учеников, без синагоги. Чтобы доставить отцу удовольствие, он снова, после пятнадцатилетнего перерыва, стал изучать Тору. В семье Ошер был младшим ребенком, и, как младшего, его баловали и любили, но всегда считали «шлемазлом» – неучем и неудачником, а после того, как он в восемнадцатом году уехал в Москву учиться живописи, и вовсе махнули на него рукой. Теперь, когда он возобновил занятия, отец отнесся к этому с большим уважением, был с ним очень мягок, хвалил усердие и только говорил, что они шли бы куда быстрее, если бы он знал Пятикнижие наизусть.

Незадолго до смерти отца он сам понял это и, чтобы запомнить Тору, стал медленно, подряд, начиная с первого стиха Бытия, переписывать ее. За образец он взял изумительный по красоте свиток Торы, который был выполнен каким-то испанским каллиграфом и вывезен из Испании одним из их предков после указа об изгнании евреев. Писал Ошер на больших листах толстой мелованной бумаги, но, так же, как тот каллиграф, без огласовки и сопровождая текст Массорой Магной и Парвой. Сначала он почти рабски копировал его написание букв, но потом, когда вошел в работу, почерк его стал легче, линии тоньше и мягче, и отец, который успел увидеть страницы, написанные уже по-новому, одобрил их.

В середине тридцать второго года он кончил Пятикнижие, с этого года ему стал помогать сын Илья, и они уже вместе к тридцать шестому году дописали Пророков. Левин считал сына очень способным и хотел, чтобы тот ехал учиться в Москву, списался с Машковым, но Илья отказался и в конце концов так и остался при нем, не идя дальше его ученика и подмастерья.

Оба они, как и хотел отец, теперь знали всё Писание, но Левина смущало то, что ни в памяти, ни в молитве он почти не может отделить Слово Божие от своих букв. В синагоге и во время занятий, когда он пользовался Торой, напечатанной в типографии, ему всё время казалось, что это какой-то другой текст, и он, чтобы понять смысл стиха, сначала должен был перевести его с обычного шрифта в свой почерк.

Летом тридцать седьмого года Левин впервые за последние десять лет получил короткое письмо из Палестины от брата и написал ему о последних годах жизни отца и о его смерти; адреса второго брата он не знал и просил, чтобы Давид сообщил тому обо всём сам.

Недели через две после того, как он отправил письмо, к нему зашел заведующий отделом культуры горкома партии и сказал, что в августе в городе откроется выставка, посвященная 20-летию Октябрьской революции, и он должен обязательно принять в ней участие. В горкоме знают, что он известный художник, что в двадцать пятом году в Москве у него была персональная выставка, которая прошла с большим успехом, и выделены средства, чтобы после окончания экспозиции купить для Дома культуры несколько его лучших работ. Сумма значительная и будет хорошим дополнением к его заработку учителя.

«Я сказал ему, – рассказывал Левин Сергею, – что никаких картин у меня нет, те, что я делал в Москве, в Москве и остались, а в Кричеве я не написал ни одной работы. Но он не верил и повторял две вещи: «художник всегда художник», отсюда следовало, что работы у меня есть, и «сумма очень и очень большая», это означало, что, дав их на выставку, я не прогадаю. Разговор наш зашел в тупик, и в конце концов я принес и положил перед ним наше Писание, которое мы с сыном только что переплели в три толстых тома. Я сказал ему, что больше ничего у меня нет и что этим, и только этим, я занимался последние десять лет. Он пролистал весь первый том, ничего не сказал и ушел. Конечно, я понимал, что сделал глупость, но к чему она приведет, мне даже в голову не приходило. В ноябре тридцать седьмого года нас с сыном арестовали, суд был в Кричеве, обвинялись мы в сионизме, религиозной пропаганде и в попытке сорвать октябрьские торжества, дали мне десять, а сыну пять лет».

Левин говорил Сергею, что дальше им везло. Попали они в один и тот же мордовский лагерь, от Пензы до него километров триста, и уж совсем повезло им в самом лагере. Начальник его, майор Смирнов, работал в НКВД недавно, с сионистами еще не встречался, они были

первые, и недели через две после этапа он приказал привести их к себе. Они долго отвечали ему, какая в Палестине земля, что там растет и как евреи собираются сделать свое государство, спрашивал он их и о том, на чем они попались, и Левин, не особенно таясь, рассказал ему всё дело.

Смирнов, как кажется, был очень удивлен, взял со стола лист чистой бумаги, пододвинул к Левину чернильницу с ручкой и велел, чтобы он написал несколько строк по-еврейски. Потом долго рассматривал то, что получилось, и наконец отпустил их. На следующий день снова вызвал и сказал, что на общие работы они больше ходить не будут, жить тоже будут не в бараке, а при больнице и работать в канцелярии, в их обязанности теперь входит переписка набело всех приказов и исходящих из лагеря документов. Еще он сказал, что у русских и еврейских букв есть много общего, и он хочет, чтобы при переписке они по возможности сохранили все особенности своего письма, и последнее: он, майор Смирнов, восхищен их искусством. Вечером в бараке они узнали, что пятнадцать лет Смирнов был писарем в штабе Буденного и превыше всего ценит каллиграфию.

По словам Левина, этой перепиской они занимались весь свой лагерный срок, и первый, и второй – с 1948 по 1954 год. Второй срок им дал уже другой начальник лагеря, Гришин, и тоже за каллиграфию. К тому времени отчеты, переписанные ими, давно считались в системе образцовыми, и Гришин в ноябре сорок восьмого года, перед самым концом срока, сказал, что выпускать их сейчас не имеет смысла: на сионистов теперь мода, через полгода их всё равно снова возьмут, – а лучше, чем здесь, им ни в одном лагере не будет.

Живя при больнице, Левин коротко сошелся с лагерным врачом Исааком Гольдштейном. Тот был наркоман, в своем деле, кажется, виртуоз, и скоро, еще до войны, Левин, как, впрочем, и его сын, тоже стали колоться его смесями. То ли от наркотиков, то ли потому, что он весь день писал и почти не выходил из канцелярии, но от всех семнадцати лет заключения память его сохранила всего несколько эпизодов. Он говорил Сергею, что переписка лагерных бумаг была для него благом, что через год занятий ею он заметил, что Тора отделяется в нем от его почерка, что почерк ему больше не нужен – он помнит Тору и так.

В сороковом году Смирнов ездил по служебным делам в Москву и привез оттуда несколько альбомов и книг, посвященных древнерусским рукописям. Много лет он составлял летопись лагерной жизни, вставляя туда в соответствии с датами все важнейшие приказы и отчеты; теперь Смирнов велел, чтобы Левин передал текущее делопроизводство сыну, а сам начал, используя рукописи как образец, лично для него переписывать ее. Многокрасочные заставки и заглавные буквы, которыми Левин украшал летопись, они частью выбирали из альбомов, частью придумывали сами. Раз в год Смирнов переплетал всё сделанное Левиным в один том и в нарушение инструкции хранил его у себя дома. По-видимому, Смирнов скучал по своей старой писарской службе – и часто по вечерам, когда знал, что у Ильи особенно много работы, приходил ему помогать. В сорок втором году, когда срок у Ильи кончался, он сказал Левину, что идет война и сын его на фронте пропадет – немцы с евреями не церемонятся; Илья тоже боялся жить без отца, тоже не хотел выходить, и Смирнов, якобы за попытку побега, добавил ему пять лет – сроки Левиных сравнялись.

Освободились Левины в июле пятьдесят четвертого года – и после выхода из лагеря сильно бедствовали; переезжали из города в город, нигде не могли устроиться, по несколько месяцев жили в Кемле, в Комсомольске, в Саранске, думали вернуться в Кричев – но там после немцев не осталось ни родных, ни знакомых. Зимой пятьдесят шестого года они оказались в Пензе, и здесь им пришлось хуже всего. У них не было денег, продать тоже было нечего и не на что достать нужные для уколов лекарства. У Левина началась абстиненция. Случилось это в вокзальном зале ожидания; всю ночь его выворачивало, ломало, бил озноб; утром Илья, видя, что отец умирает, взвалил его на себя и через весь город потащил в психиатрическую больницу. Там Левина долго не хотели принимать – у него не было ни пензенской, ни даже

областной прописки, – но потом сжалились и взяли. Месяца через полтора, когда Левин уже не только оправился, но и успел занять в больнице то же место, что и в лагере – главного переписчика всех бумаг и отчетов, по его просьбе госпитализировали и Илью. Работа их ценилась в больнице так высоко, что в переполненном отделении хроников им из маленького чулана сделали собственную комнату, в которую поместились две кровати и письменный стол.

«Медовый месяц» в отношениях Левина и Сергея пришелся на лето и начало осени пятидесяти девятого года. В это время у Левина было сравнительно мало работы – пора отпусков, Сергей чувствовал себя совсем здоровым, и они почти каждый день или гуляли вместе во дворе, или пили чай в комнате Левина. Оба принадлежали к немногим в отделении привилегированным больным: Левин – по должности, Сергей – потому, что был положен по протекции лечащего врача, и потому, что его почти каждый день навещали родные. В этом качестве они частью стояли вне отделения, и им легче, чем другим, было смотреть на него со стороны. Вначале они много говорили о здешних порядках, о том, что санитары – садисты и каждый день безо всякого повода избивают больных, что не хватает лекарств и даже кроватей: многие в палате месяцами спят валетом, по двое деля одну койку; новые кровати есть куда поставить – в отделении широкий коридор и из его тупиковой части можно сделать еще одну палату, но ни главврач, ни облздравотдел не разрешают этого.

Еще с того своего первого дня в Пензе, когда он случайно попал в церковь Бориса и Глеба, Сергей начал интересоваться Христом. В больнице он часами расспрашивал Левина о том, что было в Палестине в последние десятилетия до Христовой эры, во время земной жизни Христа и потом, после того, как Он был распят. Левин рассказывал ему о ессеях, зилотах, фарисеях и саддукеях, о восстании Бар-Кохбы, о разрушении Храма и рассеянии. Он рассказывал о Христе, о его учении и учениках, о том, как были устроены первые христианские общины: о пророках и учителях, о епископах, пресвитерах и дьяконах, о том, как возникали секты и как постепенно рождалась церковь. У Сергея уже был свой взгляд на Христа, он сложился еще до больницы, во время тех долгих споров, которые он вел с Александрой о молебнах, и рассказы Левина мало в чем изменили его.

Сергей по-прежнему считал, что Христос был, пожалуй, самым великим народным вождем, и то, что хотел дать людям Христос, нужно им сейчас. Вера в Христа, вера в его божественное происхождение и воскресение нужна и оправданна, она была спасительна для Его последователей, без этой веры христианство вообще было бы невозможно. Хорошо относился Сергей и к церкви, но лишь того периода, когда она еще не вошла в союз с государством и не служила ему. Единственное, что казалось ему несправедливым и с чем он не мог примириться – это с идеей первородного греха, с идеей изначальной греховности и виновности человека, с тем, что Христос пришел в мир, чтобы на кресте искупить человеческие грехи и очистить людей.

Как-то он спросил Левина, откуда вообще взялось в мире зло, если Бог Всеблаг, и что думают о зле Ветхий завет, Талмуд и сам Левин. Левин тогда сказал Сергею, что Господь не мог творить зло и до человека в мире зла, кажется, вообще не было. Знание о том, что такое зло, было, а самого зла не было. Мир был как буквы, которые сами по себе благо, но которыми можно написать и зло. Господь создал человека, и ему первому была дана возможность, свобода творить и добро, и зло. Господь надеялся, что человек, зная, что такое зло, и зная, что он может творить зло, сам свободно выберет добро, будет творить добро.

Рай – это время детства человека. Играя, он дает имена зверям и рыбам, птицам и деревьям – всему, чем Господь населил данный человеку мир и что будет жить с ним в этом мире. В раю человек познает добро и зло, познает слишком рано, еще ребенком, познает тогда, когда душа его еще не была воспитана. Первое зло, которое сотворит человек, – нарушит запрет Господа, это зло, порожденное ребенком, но дальше, появившись в мире, зло начнет порождать зло, зло будет множиться и расти, и человек, душа которого плохо научена отличать добро от

зла, будет в неведение только помогать злу. Мы боремся со злом и думаем, что, если против нас зло и мы с ним боремся, мы – добро. Но это не так. Тот, кто против нас, тоже считает, что он добро, в этой борьбе сходятся два зла и рождается новое зло. Мы не понимаем и забываем, что добро – это нечто совсем другое, чем зло, что добро – тогда, когда кто и откуда на него ни смотрит, всегда видит добро.

В октябре пятьдесят девятого года состояние Сергея снова начало ухудшаться. Осень в тот год была плохая, прогулки из-за обложных дождей совсем редкими, но и в те дни, когда их выпускали во дворик, Сергей старался не выходить из корпуса. Почти всё время он проводил в палате и теперь, через семь месяцев после поступления в больницу, наконец стал привыкать к тому, что он болен, живет и будет жить вместе с другими больными здесь, в этом отделении. Он и раньше, летом, когда чувствовал себя хорошо, не хотел выписываться, сознавая, что вывеска сумасшедшего дома хоть как-то защищает его, что оставаться в больнице и дальше – для него лучший выход.

Осенью, когда дозы лекарств, которые ему давали, снова увеличились, он заметил, что память его постепенно слабеет, он помнит то, что было с ним до больницы, всё хуже, и был рад этому. Изменилось и его отношение к Левиным: так же, как и для других больных, они теперь становятся для него не свои, не больные, а скорее часть персонала. Тогда же он при каждом свидании с Верой и Александрой начинает говорить им, что ему трудно общаться с людьми не из больницы, трудно перестраиваться и, если они будут реже навещать его, для него это будет только лучше.

Осенью пятьдесят девятого года в самом Сергее уже появилось понимание того, что те, кто лежит вместе с ним в отделении хроников, давно уже не случайное скопище людей, что здесь за многие годы возникла настоящая община или даже маленький народ, со своей судьбой, с устоявшимися обычаями, нравами, законами. И главное, эта община – его, она его ждет. Но войти в нее Сергей сумеет только в начале следующего года, когда Вера, Александра и Ирина будут приходить к нему не как раньше, почти каждый день, а два-три раза в месяц, и вместе с их ежедневными визитами кончится его привилегированное положение, кончится жизнь на два дома, они перестанут вмешиваться в его дела, перестанут напоминать ему то, что он должен забыть и что связано с ними.

С зимы шестидесятого года санитары начнут бить его, как и других больных, он тоже будет голодать без передач, но теперь он уже не один, он в общине, он часть народа, который принял его, перед которым он ни в чем не виноват и который ни в чем не виновен перед ним. Он свой среди своих, и он пожертвует всем, чтобы его народ жил лучше.

В жизни отделения хроников была одна особенность. Она состояла в том, что всё существование его было подчинено строгой цикличности. Цикл, словно отмеренный по линейке, продолжался ровно три месяца и кончался бунтом, в котором участвовали все больные. За весну и лето пятьдесят девятого года Сергей видел два таких восстания – 10 мая и 11 августа, но и до мая про эти бунты ему много раз рассказывал Левин, который видел их добрый десяток, а кроме того, переписывал год назад посвященный им специальный медицинский отчет.

По словам Левина, выходило, что первый бунт был в отделении в январе пятьдесят первого года, а до этого здесь никогда не слышали ни о чем подобном. Бунты эти были страшны: безумие больных, направленное раньше вовнутрь, замкнутое и огороженное в них самих, выходило наружу, соединялось вместе, и начинался дикий погром. Стихия его захватывала самых тихих и занятых собой больных, но длился он недолго, редко больше двух часов, и кончался массовой экзекуцией, которую проводили санитары, созванные со всей больницы: больных избивали, вязали в смиренные рубашки, кололи аминазин.

Еще 10 мая, во время первого бывшего при нем восстания, Сергей заметил, что эта экзекуция не столько прекращала бунт, сколько следовала за ним. Когда он начинался, отделенческие санитары прятались в ординаторской и отсиживались там, пока не получали подкрепле-

ния, но и вместе санитары начинали действовать, когда бунт уже сам собой затихал и сходил на нет. В отделении была разработана целая система мер, чтобы предупреждать вспышки или хотя бы купировать их. Разными способами врачи и санитары пытались сгладить пик, как бы рассредоточить безумие больных по всему объему этих трех месяцев. Чтобы выровнять напряжение, санитары ежедневно по плану избивали больных, запугивая их и заставляя выложиться до времени, только за неделю до бунта избияния кончались и больным начинали давать двойные и тройные дозы успокоительного. Однако основная ставка была на другое.

Трехмесячный цикл имел свои высшую и низшую точки: высшая падала на бунт, потом возбуждение в отделении спадало, достигая минимальной отметки примерно через два месяца после него, дальше снова начинался подъем. В низшую точку цикла санитары принудительно устраивали больным общую меню кроватями, такая операция называлась в отделении «третий лишний». Многие больные ночью ходили под себя, у многих были припадки, и между теми, кто теперь, после мены, оказывались на одной койке, сразу же начинались драки. Но сил у больных было мало, они были вялые, сонные, и санитары легко гасили возмущение.

Цель операции «третий лишний» состояла в том, чтобы разделить больных, стравить их и создать внутри палаты постоянный источник недовольства. Привыкание соседей по койке шло долго, обычно несколько недель, и всё время, пока оно продолжалось, ненависть больных была направлена друг на друга, она изнуряла и ослабляла их и, самое важное, снимала давление с персонала. Смена коек считалась очень эффективной мерой, но Левин говорил Сергею, что бунты идут точно так же, как раньше, так же начинаются каждые три месяца, так же застают врачей и санитаров врасплох и по-прежнему никому не понятны. Но главная загадка – не неожиданность и сила вспышек, а их строгая периодичность, которая всех ставит в тупик.

Эта предсказуемость бунта и на равных его внезапность были удивительны. С первых чисел мая Сергей знал, что со дня на день будет очередная вспышка, ждал ее и внимательно следил за тем, как ведут себя больные. Левину он говорил тогда, что в отделении наверняка происходят те же народные восстания, что испокон века потрясали Россию, здесь обязательно есть свой вождь, свой или Болотников, или Разин, или Пугачев, такой же больной, как и они, плоть от их плоти, который и поднимает больных на борьбу, – но, увы, все эти вспышки отчаяния и ненависти обречены на неудачу. Народный бунт не признаёт ни организации, ни плана, ни четкой программы, его страшная сила – сила зверя, в ней нет разума, она стихийна, и народ, отбунтовав, снова смиряется, дает надеть на себя ярмо еще тяжелее прежнего.

В 1861 году, после отмены крепостного права Александром II, народниками была создана организация «Земля и воля», в России все тогда ждали, что народ вот-вот восстанет, ждали крестьянской революции, и «Земля и воля» должна была возглавить ее и привести к победе.

Но народ не поднялся ни в шестьдесят первом году, ни в шестьдесят втором, а в шестьдесят третьем восстала не Россия, а Польша, и Россия с Александром II подавила ее. Почему это произошло, не знает никто, и, может быть, здесь, в их отделении, они наконец поймут, как и кто начинает народный бунт и почему он не начался тогда, в шестьдесят третьем году.

10 мая, как и несколько предыдущих дней, Сергей почти не выходил из палаты: кончались три месяца, все ждали новой вспышки, и он боялся пропустить ее. Чтобы разобраться, что происходит, Сергей еще в конце апреля начал вести дневник, старательно заносил туда самые малые изменения в поведении больных. Каждый вечер он перечитывал свои записи, чтобы составить общую картину, но толку в этой работе не было: разочарованный, он убеждался, что с больными не происходит ничего особенного, напряжение не растет и ничего не меняется. К 10 мая он уже начал думать, что бунтов больше не будет, они кончились или сами собой, или, наконец, подавлены врачами и санитарями. Весь тот день он почти безотлучно провел в палате, но в семь часов к нему пришла Вера, и он должен был оставить свой пост. Сергей не хотел ее видеть, не хотел выходить на улицу, но больные вели себя как обычно, даже спокойнее



обычного, надеяться больше было не на что, и, хотя он мог отговориться простудой, он все-таки пошел к Вере.

Как всегда, она ждала его в углу двора, у забора, разделяющего территорию их отделения и городской парк. На забор и парк выходила глухая, без единого окна, торцовая стена здания, место это было самым безопасным, называлось оно «карман» и считалось вотчиной больничных алкашей. В заборе была проделана большая дыра, сюда приносили и тут пили водку, через эту же дыру летом ходили в парк за пивом. Сергей уже несколько раз говорил Вере, что она может ждать его где угодно, только не здесь, что здесь они всем мешают, – но Вера не слушалась его, и виноват в этом был он сам.

Как-то в середине апреля Вера пришла к нему позже, чем всегда, они заговорились и не заметили, что уже темно, прогулка давно кончилась, больных загнали в помещение и отделение заперто. Во дворе они были одни. Сергей долго стучался в дверь, но санитары, наверное, были в столовой, и ему никто не открыл. Они с Верой сели на скамейку перед входом, через час должна была прийти ночная смена и впустить его. Ждать было скучно, и, когда совсем стемнело, они ушли обратно в «карман»; здесь Вера стала целовать его; она была маленькая, намного ниже, чем он, Сергей поставил ее на кирпичное основание забора, и сначала они спали стоя. Потом она захотела снова; вечер был очень теплый, ногами они сгребли прошлогодние листья, Вера постелила свою нижнюю юбку, легла, и они спали еще дважды.

Вера скучала без Сергея. С тех пор, как он лег в больницу, она беспрерывно ругалась с матерью, требовала, чтобы ни Ирина, ни Александра без ее разрешения не ходили к нему. Когда Александра как-то не послушалась, Вера поехала к ней домой, устроила скандал, кричала, что она, Александра, старая дева, старуха, – а всё равно только и думает, как бы отбить у нее Сергея. После этой склоки они больше месяца не разговаривали и не виделись, и только в конце апреля Ирина помирила их. В свое время Вера единственная была против того, чтобы Сергей ложился в больницу, и теперь она первая заметила, что он всё быстрее от них отдаляется.

Она чувствовала, что этот его уход и сама болезнь как-то связаны с тем, что их всегда было трое, и хотела отделиться от Ирины и Александры. Матери она говорила, что к прошлой жизни возврата нет, что она решила разменять их комнату и, когда Сергей выйдет из больницы, поселится с ним вдвоем, родит ребенка. Несколько раз она уже просила подругу помочь ей ускорить выписку Сергея, но та отказывалась, говоря, что психиатрическая больница – не курорт, хорошего в ней мало и, если больной все-таки хочет остаться там, его надо слушаться.

10 мая Вера специально, как и тогда, перед майскими праздниками, пришла в самом конце прогулки: она надеялась, что они будут одни, что Сергей снова захочет ее, что он будет хотеть ее еще и еще, будет хотеть, чтобы она пришла и завтра, и послезавтра, и так она в конце концов вытащит его из больницы. Но, едва увидев Сергея, она поняла, что он ей не рад, поняла, что ничего у них не будет, и приготовилась плакать. Сергей даже не поцеловал ее; сказал, что у него температура, он проводит ее до ворот и пойдет ляжет.

Свидание не продолжалось и пяти минут: они уже прощались, когда в корпусе лопнуло и посыпалось вниз сначала одно, потом другое стекло, раздались крики... Сергей побежал туда, однако попасть в отделение он не смог – все двери были заперты. В палату его пустили только через три часа; бунт был уже подавлен, и больные, избитые и связанные, кулями лежали на кроватях и на полу. Вспышка оказалась из самых сильных – везде был разгром, валялись осколки стекол, сломанные стулья и тумбочки, перевернутые кровати. Лишь через три недели больные кое-как зализали раны, и жизнь в отделении вошла в нормальную колею.

Восстание 10 мая ничего не дало Сергею и ничего не добавило к рассказам Левина. Ни на йоту не приблизил его к разгадке и следующий бунт – 11 августа. В тот день Сергей тоже вел записи и даже был в палате, когда бунт начался, – но то, что началось, мгновенно захватило его, и он, полный ненависти, как и другие больные, до ночи громил и буйствовал в отделении.

Очнулся он только утром следующего дня, связанный, весь в синяках, кровоподтеках, и ничего не помнил.

Третий бунт, который был в больнице при Сергее, пришелся на 9 ноября. С середины октября у него было тяжелое воспаление легких, температура поднималась до сорока, опускалась, потом поднималась снова, сбить ее окончательно никак не могли, – и он, измотанный болезнью, целыми днями лежал в забытии. Слабость и полубессознательное состояние предохранили его от всеобщего аффекта, и у него осталось смутное воспоминание, что бунт начали, или как бы дали ему толчок, два человека: Валентин Геннадьевич Трухно и Петр Трифонович Козлов. К концу ноября уколы пенициллина постепенно поставили Сергея на ноги, он выздоровел и теперь почти неотвязно думал о Трухно и Козлове. Оба они мало походили на народных вождей, и он, наблюдая за ними, с каждым днем всё больше убеждался в том, что то, что он видел 9 ноября, вряд ли могло быть на самом деле. В декабре Сергей во время случайного разговора с Левиным узнал, что сейчас тот для главврача делает выписки из историй болезни их отделения, и подумал, что истории болезни Трухно и Козлова смогут многое прояснить в этом деле; он попросил Левина – и тот согласился на несколько часов дать их ему для просмотра.

Болезни и Трухно, и Козлова оказались во многом схожи. При общей нечеткости диагноза оба они относились к больным циклоидного круга с выраженными циркулярными колебаниями (фазами) психического состояния. Для обоих была характерна склонность к образованию так называемых «сверхценных идей», которые определяли всё их поведение, а также длительные состояния аффектного напряжения, разрешающиеся резкими вспышками. В связи с этими аффектами они и попали в больницу: Трухно – по заявлению жены, Козлов – соседей. Во всем остальном между ними было мало общего.

В истории болезни Валентина Геннадьевича Трухно говорилось, что он родился 12 апреля 1912 года (значит, в пятьдесят девятом году ему исполнилось сорок семь лет) в семье кадровых военных; сам Трухно тоже выбрал карьеру военного, прошел всю войну и закончил ее в чине майора артиллерии. Родители Трухно были очень строгими, замкнутыми в себе людьми, такой же человек был он сам и такими же, по его мнению, должны были быть и другие люди. По словам жены Трухно, муж любит дисциплину и всегда требовал и от нее, и от детей полного повиновения. Он тверд, решителен, скрытен, до войны особой вспыльчивости она в нем не замечала, и аффекты, из-за которых он положен в больницу, начались у него в сорок четвертом году в госпитале, после тяжелой контузии.

Второй больной, Петр Трифонович Козлов, родился в тридцать втором году в деревне Козловка Пензенской области, пяти лет остался круглым сиротой и родителей своих помнит плохо. В школе проявлял незаурядные способности к математике, в пятидесятом году, посчитав, что жизнь в деревне – не для него, и что он должен учиться дальше, переехал в Пензу; дважды сдавал экзамены в пединститут – по математике на «отлично», но оба раза срезался на сочинении и так и не смог поступить. Считает, что у него есть враги. Последний год перед больницей работал бухгалтером на трикотажной фабрике, не женат.

После историй болезни Трухно и Козлова с отмеченными в них периодическими аффектами Сергей снова начал склоняться к тому, что восстания в отделении все-таки поднимали именно они, но окончательно его убедила в этом одна деталь, замеченная только при повторном чтении: и Трухно, и Козлов единственные поступили в больницу в октябре пятидесятого года, то есть ровно за три месяца до первого бунта.

Следующее восстание в истории отделения хроников было 8 февраля 1960 года, оно подтвердило правоту Сергея, но еще за два месяца до него, с декабря пятидесятого года, он во всех своих действиях и решениях исходил из того, что Трухно и Козлов – истинные вожди, и борьба, которую они возглавят, должна привести больных к победе и освобождению.

Сергей понимал, что новое восстание – неизбежно и близко, и он призван сыграть в нем роль народнической «Земли и воли», он должен разработать четкую и ясную для больных про-

грамму борьбы и, подавив стихийность, сделать движение организованным и сознательным. Больше месяца занимался он ею, и в окончательном виде главные требования больных выглядели так: 1) прекращение террора, всякого произвола и репрессий персоналом отделения; 2) полное самоуправление больных; 3) немедленная установка новых кроватей и расселение больных в соответствии с принципом «один человек – одна койка»; 4) регулярная, раз в десять дней, смена постельного белья; 5) прекращение воровства на кухне и улучшение питания.

Но самая долгая, самая тяжелая работа была связана не с этими пунктами, а с организацией больных. Во-первых, Сергею надо было завоевать доверие Трухно и Козлова, так или иначе подчинить их своему влиянию. Было необходимо изменить течение и ход их болезни, сохранив силу аффектов, растянуть приступы на дни, возможно, даже недели. В случае нужды научиться произвольно их вызывать и так же произвольно купировать.

Чтобы во всём этом продвинуться, Сергей еще с конца ноября начинает энергично заниматься психиатрией, берет труды Крепелина, Кречмера, Фрейда, Ганнушкина, изучает технику общения с психическими больными, способы воздействия на них. По просьбе Сергея, Вера несколько раз приходит к нему вместе с Леной, и ему после ряда консультаций с ней удается поставить и Трухно, и Козлову точный диагноз. Затем наступает следующий этап. Вера добывает последний фармацевтический справочник, а потом через ту же Лену достает нужные ему для Трухно и Козлова лекарства. Теперь у Сергея есть все необходимые средства, и он постепенно начинает подчинять болезни обоим интересам дела и организации.

В итоге уже к середине февраля организация Трухно и Козлова создана, действует и уже сумела поставить под свой контроль всех больных. Хотя пока еще не совершена ни одна акция, не поднят ни один бунт, – весь персонал отделения хроников уже почувствовал, что с больными что-то произошло. Их реакции, направленные и на соседей по палате, и на врачей, вдруг изменились, стали другими; между врачами и больными возникла глухая стена, и разглядеть через нее что-нибудь трудно. В палатах стало заметно тише, конфликты сразу, еще до вмешательства санитаров, гасли; кто-то взял на себя их права и обязанности – и, хотя прямого неповиновения не было, это было не хорошо, а плохо. Больные почти не давали поводов для избиения, и у санитаров не стало чувства правоты, так необходимого, чтобы бить беззащитного человека. То, что они видели, было впервые в их практике, и они всё больше нервничали, начинали бояться. В палаты санитары теперь заходили редко и всегда по двое.

30 марта, через месяц после февральского бунта, как обычно, была устроена мена кроватей, – но на этот раз она прошла мирно, без единого инцидента. На следующий день больные по приказу организации заняли свои прежние места, а еще через два дня организация нанесла ответный удар – во время ночного обхода больные устроили санитарам темную, жестоко избили их, и с этой ночи почти до лета те вообще не появлялись в палатах.

Сергей сознавал, что выигран только первый раунд, что скоро врачи пойдут по испытанной на воле дороге – начнут искать и найдут среди больных информаторов; он знал это из той логики политической борьбы, которая была ему преподана в камере курганской следственной тюрьмы, и был доволен, когда его уверенность оправдалась. Он понимал, насколько уязвима созданная им организация: достаточно любому стукачу назвать врачам его имя, а тем – просто выписать его или перевести в другое отделение, – и сопротивление больных будет немедленно подавлено. Чтобы укрепить организацию и подчинить себе всё отделение, включая врачей и санитаров, был только один путь – он, Сергей, должен был сыграть роль Клеточникова; как Клеточников, он должен был пойти на службу к врагам и сделаться их информатором. Тогда бы он не только заранее знал обо всех акциях, которые медперсонал готовит против больных, и мог предупредить удары, но сам был как бы конструктором этих акций, основанных единственно на его информации. Теперь Сергею необходим был человек, готовый представить его и рекомендовать в качестве больничного сексота. Сделать это мог только Левин, равно близкий и врачам, и больным. Сергей был убежден, что тот должен согласиться.

С Левиным Сергей разговаривал дважды. Первый разговор он построил как продолжение их прошлогодних бесед о больничных непорядках, но сразу же увидел, что Левин понимает смысл того, что сейчас происходит в отделении, догадывается о роли Сергея, и свел разговор на нет. Второй раз они говорили 13 апреля. На этот раз Сергей не скрывал ничего и не сомневался, что справедливость целей, за которые они борются, убедит Левина примкнуть к ним. Но Левин не захотел его понять и помогать отказался наотрез. Сергею он сказал две вещи, которые иначе как отговорками назвать было трудно: первое – больные не должны управлять здоровыми, и второе – если зло исходит извне, тогда еще есть надежда.

После второго разговора с Левиным вся организация оказалась засвеченной. Несколько дней Сергей был в полной прострации, зная и виня себя в том, что сам раскрылся, сам доверился Левину – и погубил дело. Потом, когда он начал поправляться, вопрос, что делать с Левиным, трижды обсуждался Трухно, Козловым и им. Трухно и Козлов считали, что Левин наверняка передал свой разговор с Сергеем сыну, теперь они оба равно опасны и должны быть убиты. Смерть их будет не только оправдана интересами дела, но и справедлива, так как они не больные, а часть медперсонала. Но Сергей тогда отказался дать санкцию на убийство Левиных; он склонялся к тому, что организация должна ограничиться их избиением и запугиванием, так как без помощи Левина возможности стать сексотом у него нет. Во время третьего заседания Козлов спросил Сергея, кто возьмет на себя избиение Левиных – они сами или другие больные, Сергей ответил, что они при всех условиях должны остаться в тени, тогда Трухно поддержал Козлова и сказал, что больным в состоянии аффекта трудно объяснить, что они должны избить Левиных, но не убивать их, и Сергей понял, что они правы.

Через два дня после этого разговора от одного из больных Сергей узнал, что медсестра Марина, женщина редкой красоты, которая полгода назад стала женой врача их отделения, изменяет ему с одним из санитаров; он сразу понял, что сможет договориться с ней и что теперь Левин ему больше не нужен. В тот же день вечером он сказал Трухно и Козлову, что настало время решать, что делать с Левиными; их точку зрения он знает, но, так как речь идет о жизни людей, они должны вынести приговор единогласно. Потом он раздал каждому по ручке и листку бумаги и сказал, что они будут голосовать тайно, что минус в их листках будет означать для Левиных смерть, а плюс – жизнь: они должны хорошо подумать, прежде чем что-нибудь напишут. Ни Трухно, ни Козлов не знали, за что стоит Сергей, и оба, не сговариваясь, решили подглядеть за ним. Он провел только одну горизонтальную черту, и вслед за ним Трухно и Козлов тоже поставили минус.

Через два дня ночью в отделении началась драка, в самом ее разгаре несколько больных ворвались в комнату Левиных, и те после короткого сопротивления были убиты. В конце апреля Сергей во время дежурства Марины встретился с ней. Они долго говорили, и она согласилась помогать им во всем.

К середине мая шестидесятого года организация Трухно и Козлова уже полностью контролировала всё отделение хроников и успела добиться удовлетворения большинства требований. Прекратились избиения и издевательства, в отделение привезли сорок дополнительных коек; пока их поставили в коридоре, но плотники скоро должны были закончить деревянную перегородку, которая отрезала конец коридора и делала из него новую палату. Больным теперь регулярно меняли белье и стали намного лучше кормить.

Оба летних месяца, июнь и июль, Сергей чувствовал себя очень хорошо; дело, за которое он боролся, победило, он был бодр и весел, хотя почти не принимал лекарств. Врачи говорили Вере, что пока всё идет отлично, Сергей практически здоров и в конце августа, если ничего не изменится и он сам будет на это готов, его выпишут. После таких прогнозов тем неожиданнее для всех было самоубийство Сергея, происшедшее ночью 17 августа 1960 года.

Смерть Сергея подкосила Веру. По словам Ирины, она долго болела и, так и не оправившись, умерла в январе 1963 года.

Самоубийство Сергея для всех – и для врачей, и для его близких, – осталось загадкой, но после того, что мне было рассказано о нем, я все-таки рискну сделать одно предположение. Конечно, какую-то роль сыграло то, что он всё еще боялся жить на свободе, вне больницы, но главное не это. Он покончил с собой, когда выздоровел, когда понял, что он здоров. Полтора года Сергей был болен, как больной он стал вождем больного народа, он возглавил борьбу своего народа с медперсоналом – властью, которая давила и угнетала. Чтобы сломить эту власть, он, как Клеточников, внедрился в нее, его народ победил, – но к началу августа Сергей вдруг увидел, что больше не болен, что он здоров и смотрит на других больных глазами здорового, теми же глазами, что врачи и санитары: глазами власти. А это значило, что теперь у него нет своего народа, он вышел из него, изменил ему, предал его.

Проложит колею телега,  
Впряженный мерин стар и плох,  
У умирающего бега  
Большие вмятины подков.  
Следы колес равны пред Богом,  
Мечтаний века в этом суть,  
А мерин смертную дорогу  
До дома хочет дотянуть.

Как уже говорилось выше, мой приемный отец, Федор Николаевич Голосов, урожденный Федор Федорович Крейцвальд, был младшим и последним из трех братьев Крейцвальдов. Он родился в Москве 7 апреля 1937 года. Летом 1938 года, в июне, его мать Наталья Крейцвальд перевезла годовалого Федора в Кусково на дачу, которая принадлежала Николаю Алексеевичу Голосову, ее двоюродному брату. Своих детей у Голосовых не было, и еще с весны и он, и его жена Марина наперебой уговаривали Нату, что не надо ей ничего искать и снимать, что лучше, чем у них в Кусково, ребенку нигде не будет, а главное, они сами готовы прожить с ним всё лето, она, если хочет, может вообще не показываться на даче. В конце концов Голосовы и Ната условились, что, не считая экстренных случаев, она будет приезжать в Кусково в субботу вечером и на воскресенье отпускать их в Москву.

Весь июнь и половину июля эта договоренность действовала безотказно: Марина и Николай с азартом занимались ребенком – кормили, гуляли, играли с ним, чувствовали себя настоящими родителями и были счастливы, – но 15 июля, в свою обычную субботу, Ната неожиданно не приехала. Никаких дел в Москве у Голосовых в этот раз не было, она их ничем не подвела, однако когда Ната не приехала и в воскресенье, Марина начала волноваться, не случилось ли что-нибудь у Крейцвальдов, и, чтобы успокоить ее, Николай в понедельник первым же поездом поехал в город. Здесь он узнал, что два дня назад, 14 июля, Федор и Ната были арестованы.

Лето Голосовы так и дожили с Федей на даче, а осенью, переехав в город, взяли ребенка к себе. В мае следующего, тридцать девятого года, Голосовым после долгих хлопот удалось официально оформить опеку над мальчиком. У Николая из-за этого опекунства были серьезные неприятности, его несколько раз разбирали на собраниях, хотели уже выгнать из партии и из КБ, в котором он работал, – но тут вдруг на государственных испытаниях отлично показал себя его новый двигатель, и дело было решено замять. Ему дали выговор и оставили в покое.

Усыновили Голосовы Федора уже после войны, в сорок седьмом году, вернувшись в Москву из эвакуации. Тогда из справки, полученной в МВД, они узнали, что мать Федора Наталья Крейцвальд, урожденная Коновицына, умерла в лагере от пневмонии 21 мая 1942 года, всего за месяц до окончания своего пятилетнего срока, ее муж, Федор Иоганнович Крейцвальд, получил вторые десять лет – и, значит, выйдет на свободу не раньше 1957 года, а другой их сын Сергей пропал без вести в Волоколамске 23 августа 1941 года во время немецкой

бомбежки. Только следов своего тезки – Николая, старшего из трех братьев Крейцвальдов, Николаю Алексеевичу, несмотря на все попытки, разыскать не удалось.

Почему не удалось – я теперь знаю. Данные о том, что Николай был зачислен в штрафбат, отправлен на фронт и пропал без вести в боях под Харьковом, были и в МВД, и в архиве Министерства обороны, – но после того, как Николай при своем первом допросе в районном отделении милиции прибавил себе два года, во всех документах значилось, что родился он в двадцать четвертом, а не в двадцать шестом году (раньше, чем Федор и Ната вообще поженились), и, естественно, Николай Алексеевич, который точно знал год его рождения и указывал в бумагах правильную дату, найти никого не смог. Я сам шел тем же путем, что и Николай Алексеевич, и получил сведения о Николае Крейцвальде только потому, что не знал, когда он родился, и запрашивал архивы обо всех людях, носящих имя, отчество и фамилию «Николай Федорович Крейцвальд».

Из сорока пяти лет, прожитых Федором Николаевичем, первые восемнадцать были счастливыми. Хотя в тридцать восьмом году он лишился матери и отца, но тогда ему едва исполнился год, помнить он их никак не мог и до пятидесят шестого года даже не подозревал об их существовании. Марина и Николай не просто заменили ему родителей, он был их сыном – сыном любимым и единственным, и, кажется, за всё свое детство он ни разу не знал обычного для детей страха: а что, если мои родители в самом деле не те, кто родил меня, и всё так плохо, потому что я им чужой?

Судя по рассказам Федора Николаевича, семья их жила очень дружно, разумно и спокойно, но сейчас я знаю, что так у Голосовых было далеко не всегда. Марина и Николай поженились еще в двадцать шестом году, чуть ли не в один месяц с Федором и Натой; брак был по любви, они были очень привязаны друг к другу, – но Марина, хотя она испробовала все возможные средства, даже ложилась на какую-то операцию, никак не могла забеременеть, и в тридцать пятом году Николай, устав ждать, ушел от нее. Год они жили отдельно, потом Николай вернулся – но отношения по-прежнему были плохие, ничего тогда у них не наладилось, и только когда появился маленький Федор, они поняли, что их теперь трое, у них наконец-то есть свой ребенок, свой сын.

С Федором к Голосовым пришла удача. Еще перед войной Николай выдвинулся в число ведущих конструкторов авиационных двигателей, в сороковом году получил Сталинскую премию за двигатель РТ-3, а к концу войны был уже в немалых чинах и руководил собственным КБ. Все эти годы, кроме четырех лет эвакуации, они прожили на Никитском бульваре в удобной (у Федора, сколько он себя помнил, всегда была своя комната) и хорошо обставленной квартире с картинами и множеством книг. У Николая Алексеевича была отлично подобранная библиотека, в основном – классика и дореволюционная история России; начало этой библиотеки положил еще его отец; оба они любили ходить по развалам букинистов, оба в свое время мечтали об историко-филологическом факультете (отец Николая был тоже инженер) и по старой памяти покупали не только общие труды и монографии, но и важнейшие издания источников – и Полное собрание русских летописей, и тома Русской исторической библиотеки. Думаю, что эти книги и сделали Федора Николаевича историком.

Лето Голосовы, с перерывом на ту же эвакуацию, обычно жили на даче; Николай Алексеевич каждый день ездил из Кусково на работу, до войны дорога в оба конца занимала у него почти три часа, но он так любил дачу, что легко мирился с этим. Потом, после войны, когда он возглавил КБ, за ним стали присылать машину, всё упростилось, и они теперь, если не уезжали летом в Крым, оставались в Кусково по полгода, захватывая и май, и два осенних месяца.

Такая налаженная жизнь продолжалась девять лет и кончилась в пятьдесят шестом году – в самый странный и самый добрый, наверное, с начала века год в России, год, когда неведомо кем и почему были открыты ворота лагерей и неведомо как уцелевшие там люди стали возвращаться обратно. К лету вернулось уже несколько знакомых и друзей Крейцвальдов, вернулся

после пятнадцатилетнего срока друг самих Голосовых, и среди тех, кто выжил и, значит, должен был вот-вот вернуться, был, кажется, и Федор Крейцвальд, настоящий отец их сына.

Еще в феврале пятьдесят шестого года, сразу после доклада Хрущева о культе личности Сталина, Николай сказал Марине, что теперь, когда арестованные и погибшие в лагерях, всё, что связано с ними, перестало быть под запретом, они обязаны рассказать Федору и о его матери, и об отце, и о братьях; вернется Крейцвальд или не вернется, захочет Федор жить с отцом или останется с ними, – они ради его матери Наты обязаны сказать ему правду. Но Марина тогда не дала ему поговорить с Федором, и только летом, кажется в июле, когда она по каким-то дачным делам уехала с утра в Кусково, должна была остаться там ночевать, Николай Алексеевич решил, что откладывать больше нельзя и говорить с Федором он будет сегодня. Вечером он пришел в его комнату и после истории о своем погибшем в тридцать седьмом году друге сказал Федору, что он не родной, а приемный их сын, сказал, кто были его настоящие отец и мать и что случилось и с Федором, и с Натой, и с его братьями, Николаем и Сергеем.

Всё, что сказал ему Николай Алексеевич, Федор по видимости принял спокойно; даже о том, почему отец после ареста Федора и Наты не взял к себе Николая и Сергея, а только его одного, он спросил больше потому, что видел: разговор еще не окончен и Николай Алексеевич ждет этого вопроса и готов к нему. Отец стал объяснять ему, что после ареста Наты и Федора с Николаем и Сергеем жила их с Натой двоюродная тетка, женщина очень преданная и заботливая, поэтому не было особой необходимости брать Николая и Сергея к себе; по возможности они с Мариной давали им деньги и считали тогда, что этого вполне достаточно.

Потом, примерно через год после ареста Наты и Федора, когда самого Николая Алексеевича не было в Москве, – он был в командировке в Поволжье, на полигоне, где шли испытания нового самолета с его мотором, – тетка почему-то уехала от Николая и Сергея, и братьев почти сразу же забрали. В июне он вернулся в Москву, пытался вытащить их из колонии, но было поздно – сделать он ничего не смог.

Еще когда Николай Алексеевич только начал всё это говорить ему, только начал объяснять, почему он был усыновлен один, Федор уже знал то же, что когда-то в камере районного отделения милиции поняли и Николай, и Сергей, – знал, что стал наконец на свою дорогу, знал, что теперь от него ничего не зависит, ему ни за что больше не надо бороться, всё идет правильно и так, как только и может идти. И еще в нем появилось и осталось то же убеждение, что и у его прадеда, крещеного еврея, имя которого – Петр Шейкеман – вряд ли даже было ему знакомо, но пришло оно, несомненно, от него: он последний в своей семье, последний из тех, кто идет этой дорогой, и на нем, Федоре Николаевиче Голосове, всё должно кончиться.

1 июля 1956 года и переезд Федора Николаевича в Воронеж разделяет ровно год. Об этом годе, в отличие от тех лет, которые он жил в Воронеже, я знаю очень и очень мало. Жил он почти в полной изоляции, ни с кем не общался, забросил университет, неделями вообще не выходил из дома. Особенно он боялся чужих, и, когда кто-то должен был прийти, Федор Николаевич всегда заранее уходил в свою комнату. Сколько бы он ни думал о матери, отце, братьях, о том, что теперь сам идет той дорогой, которая была предназначена ему и его семье, – он видел, что вышел на нее поздно, и его родных на дороге уже нет, они или прошли ее, или были далеко, и он, в сущности, идет один.

Чтобы возвратиться к своим, Федор, будто это первородный грех, должен был отсесть от себя все те двадцать лет, которые он был сыном Голосовых, должен был соединить свою нынешнюю жизнь с тем единственным годом, который он прожил с Натой и Федором, и оттуда, от него, начать сначала. Но ни Наты, ни Федора, ни братьев он не помнил, от того первого года его жизни не осталось у него ничего, ни одной детали, ни одного, даже самого смутного, воспоминания, к которому можно было бы вернуться, года этого не было, и получалось, что он как бы родился вчера, в то же время вокруг него, как вокруг любого другого человека, были многие десятки людей, которых он знал и которые знали его, которые занимали место в его

жизни и в жизни которых он тоже занимал место. С этими людьми он был связан тысячами и тысячами общих воспоминаний, пойман и спутан ими.

Только в Воронеже, и то не сразу, а через полтора – два года, когда в нем уже накопится много своей собственной жизни, он перестанет наконец бояться, перестанет чувствовать себя пойманным и связанным, у него появится ностальгия по Москве, и он вдруг, раскрывшись, начнет рассказывать нам странные и до сих пор еще не во всём понятные мне истории о людях, которых он знал, с которыми встречался и был дружен. Начало этих полумифических историй и, главное, появление в них многих живых людей – до этого его рассказы были пустынно и абсолютно безлюдны – заметили все члены нашего воронежского кружка, и я помню, как они тогда удивили нас.

Чаще другого Федор Николаевич рассказывал нам о друге своих родителей, которого звали непривычным для русского слуха именем Зара. Федор был привязан к Заре и, кажется, любил его. Фамилию этого человека я, к сожалению, не помню, но знаю, что он умер еще до возвращения Федора Николаевича в Москву. У Зары были тяжелейшие запои, он разошелся с женой, в конце концов спился и умер, как предсказывал, оставленный и забытый всеми, то ли в Боровске, то ли в Медыни. Зара говорил отцу Федора Николаевича, что принес своим близким много зла, что он виноват перед ними; так оно, наверное, и было, но Федор запомнил, как Зара, будучи совсем пьяным, рассказывал одному из их гостей, что все-таки жизнь свою он прожил не зря и все свои грехи давно, еще на войне, покрыл.

Дело было на 2-м Украинском фронте в сорок третьем году, когда он, два с половиной года провоевав в пехоте, вернулся к довоенной профессии и стал фронтовым фотокорреспондентом. По заданию армейской газеты он поехал на передовую, в роту, которая накануне первой форсировала Псел. Шел бой. В лесу солдаты только что взяли пять пленных – троих чехов и двух венгров. Рота вчера и сегодня понесла большие потери, каждый человек был на счету, не было людей ни охранять пленных, ни отправить их в тыл, патроны тоже кончались, и комбат, прикинув всё, приказал их повесить. Зара вынул пистолет и сказал, что не даст. Комбат был капитан, Зара – майор, они долго спорили, чехи и венгры сидели рядом, в двух метрах, всё слышали и всё понимали. В конце концов комбат тоже пожалел пленных и сказал Заре, чтобы он сам, если хочет, вез их в тыл, но если хоть один сбежит, он не успокоится, пока Зару не расстреляют. Зара с трудом втиснул пленных в редакционный «козлик» и так, без охраны, повез. Бежать никто из них не пытался, и вечером он, приехав в расположение штаба полка, благополучно сдал всех смершевцу, ведавшему пленными.

Местом другой истории, из тех, что я хорошо запомнил, была Западная Польша. Их машина где-то потеряла и опередила наши наступающие части, и они первыми вошли в небольшой городок, только что оставленный немцами. Одни кварталы были полностью разрушены бомбардировками, в других домах сохранились даже стёкла. Город был пуст, нигде не было ни людей, ни собак, ни кошек. Ветер чисто вымел уцелевшие улицы, и они были похожи на только что сделанные декорации. Больше часа они ездили по городу, пытаясь найти хоть кого-нибудь и узнать дорогу на Бреслау, где стоял штаб дивизии, потом вышли из машины и пошли пешком. Кто-то из них услышал вдалеке музыку, и она вывела их к красивому угловому дому с эркерами и резными балкончиками. В доме был бордель – его обитатели, кажется, единственные выжили здесь при немцах. Весь последний месяц шли бои, всё это время ни у кого из наших не было женщин, и публичный дом был неожиданным подарком.

Очевидно, их заметили, и, когда они подошли, у входа уже стояла хозяйка заведения. Она ввела Зару и двух его однополчан вовнутрь, по лестнице они поднялись на второй этаж; здесь, в большой гостиной, в креслах их ждали девушки. Когда они вошли, девушки встали, сделали реверанс, а дальше им, как освободителям Польши, был дан редкий по светскости и целомудрию прием: их угощали тонким, почти прозрачным печеньем, мадам не отходила от рояля, и они до рассвета танцевали то вальс, то мазурку, то польку. Утром хозяйка объяснила



им, как ехать в Бреслау, у подъезда они простились с ней и с девушками, церемонно поцеловали им руки, сели в машину и поехали дальше.

Изоляция, в которой Федор Николаевич провел свой предворонежский год, прерывалась всего три или четыре раза; прерывал ее он сам – своими лихорадочными и лишенными всякой разумности поисками родных. В поисках этих не было системы, не было последовательности, они никогда не длились больше недели, а за это время никого, конечно, найти было невозможно. Тем более что люди, которых он искал, как и другие, поднятые и перемешанные войной и пятьдесят шестым годом, еще не успели осесть и отложиться в документах. Результат розысков был равен нулю, но они были единственным, что снова сводило и объединяло Марину и Николая Алексеевича с Федором.

Марина была нужна Федору для помощи в составлении сотен запросов, которые потом рассылались в архивы, адресные столы и горсправки чуть ли не всех крупных городов от Владивостока до Ленинграда, а Николай Алексеевич, используя свои военные связи, обычно звонил и запрашивал те учреждения, проникнуть в которые простому смертному было бы трудно.

Если Федор, да и Марина (во всяком случае, в то время, когда шли поиски и они были захвачены делом) верили в успех, то Николай Алексеевич, искавший братьев Федора еще в сорок седьмом году, хорошо понимал всю бессмысленность происходящего; но и он, боясь потерять последние отношения с Федором, целый год подыгрывал ему – и только в июне пятьдесят седьмого решил положить этому конец. Он позвал Федора в кабинет и в присутствии Марины сказал, что так больше не могут жить ни он, ни они, все попали в заколдованный круг, и хотя каждый волен устраивать свою жизнь как хочет, но он, Николай Алексеевич, считает, что для Федора всего лучше было бы уехать из Москвы на два – три года, сменить обстановку и со стороны посмотреть на то, что было в его жизни и что ему делать дальше.

Если это предложение кажется Федору разумным, он советует ему ехать в Воронеж. Город сравнительно недалеко от Москвы, спокойный и не слишком большой, но с хорошим университетом. Директором Воронежского авиазавода работает инженер, когда-то начинавший в его КБ, к нему, безусловно, удобно обратиться, и он сделает всё, что надо. Но если Федор хочет, чтобы в Воронеже о нем никто и ничего не знал, то можно будет обойтись и без этого человека.

Через месяц, как я уже говорил, Федор Николаевич переехал в Воронеж – и с тех пор, все его семь лет жизни у нас, бывал в Москве очень короткими, почти формальными наездами. О том, каковы были его отношения с приемными родителями в этот период и потом, в шестьдесят четвертом году, когда он оставил Воронеж и вернулся опять домой, мне почти ничего не известно. Я знаю только, что он возвратился в Москву из-за Марины, которая тогда тяжело болела и которой оставалось жить всего несколько месяцев: она умерла в марте шестьдесят пятого года. Знаю, что после ее смерти отец Федора Николаевича сильно сдал, тоже долго и тяжело болел, и следующие шесть лет Федор Николаевич и он жили вдвоем, жили очень замкнуто и уединенно до самого дня смерти Николая Алексеевича, последовавшей 13 сентября 1967 года.

Долгое время я думал, что после лета пятьдесят шестого их отношения уже никогда не были близкими. Возвращение Федора Николаевича в Москву в шестьдесят четвертом году было продиктовано не столько привязанностью к Марине, сколько вполне естественным в данной ситуации чувством долга. Изъятые им из жизни восемнадцать лет были как раз теми годами, которые он прожил с Мариной и Николаем, и от этих же восемнадцати лет он ушел к тому единственному году, когда в его жизни не было ни Марины, ни Николая и он жил со своими настоящими родителями – Федором и Натой Крейцвальдами.

Исправить и переступить через всё это было невозможно, и я не сомневался, что вряд ли здесь что-нибудь могло быть иначе. Однако года через три после смерти Федора Николаевича я вдруг понял, что он не только во всем оправдал Марину и Николая, но сделал это еще тогда,

когда жил в Воронеже, задолго до возвращения в Москву. Больше того, стало ясно, что он сам, причем осознанно и добровольно, повторил путь Марины и Николая, воспроизведя почти буквально в своих отношениях со мной историю собственного усыновления. Сначала после смерти родителей помогая мне, потом усыновив меня, он делал то, что когда-то делали Марина и Николай, и, как они, увидев, что я жалею о том, что согласился на усыновление, сразу же ушел в сторону, предоставил мне строить жизнь, как я хотел того и как мог.

В Воронеже Федор Николаевич прожил семь лет – самых деятельных и, возможно, самых счастливых лет его жизни. Здесь он окончил университет, защитил диссертацию о засечных чертах – южной границе России XVI–XVII веков, дальше шло «дикое поле». Кажется, на эту тему его натолкнули наши семейные предания о казаке Колоухове, от которого вела свой род моя мать и который служил на засечной черте еще при царе Федоре Иоанновиче.

В годы аспирантуры на оба месяца своего летнего отпуска Федор Николаевич брал командировку от нашей областной газеты «Коммуна» (с ним дружил заведующий отделом комвоспитания) и не спеша ездил по деревням. С газетой он расплачивался потом одним или двумя очерками. Особенно удачна была его вторая поездка в шестидесятом году, когда Федор Николаевич и друг моих родителей Илья Васильевич Сивцев – он был геоботаником – прошли по лесам Рязжской засечной черты.

Южная граница России и ее история всегда занимали Федора Николаевича. И в ней самой и в ее судьбе была привлекавшая его странность. Изначально еще более зыбкая, текучая и условная, чем линия горизонта, так же, как и та, не имевшая ни начала, ни конца, граница была сложена как бы из двух отрицаний – из того, чем не владел ни один народ, ни другой. Зажатая между ними, она пускала корни, укреплялась, матерела, становилась непреодолимой, незыблемой, священной, но и тогда оставалась такой же тонкой, и всегда был страх, что она порвется.

Кожа народа, она защищала и охраняла его, и ею же, кожей, он узнавал и чувствовал другой народ. Когда страна боялась силы соседа или его веры и обычаев, граница роговела и была на замке, но она могла быть и открытой; тогда сюда сходились торговать, народы здесь соединялись и смешивались, рождая полукровок, и сюда же со всей страны стекались авантюристы, беженцы, изгнанники.

В XVII веке, когда пределы России быстро ширились, старые засечные черты перестали быть ее границами, святость и условность их остались в прошлом, они были заброшены и забыты и, кажется, должны были раствориться, слиться с остальной страной. Но этого не случилось. Земля засечных черт «отстала» от земли страны и до второй половины XX века так и не сумела нагнать ее. Здесь сохранились те же почвы, те же деревья, травы, цветы, что и в XVI веке, – почвы, деревья, травы бывшей границы.

Летом шестидесятого года Сивцев и Федор Николаевич прошли от верховьев реки Красивая Меча к верховьям Дона и дальше – через Рязжск, на север, к Оке. От этого путешествия среди бумаг Федора Николаевича сохранился собранный и роскошно оформленный им самим гербарий. Его я потом подарил на день рождения своей дочери Оле – она до сих пор считает, что лучшего подарка ей никто и никогда не делал. Сейчас она учится на втором курсе биолого-почвенного факультета, хочет быть ботаником и считает себя ученицей Федора Николаевича.

Мне тоже нравится его гербарий, нравится читать его общие рассуждения о природе засечного леса, нравится разбирать подробные ссылки на других людей, многие годы изучавших эти леса. Я люблю листать страницы с ломкими шуршащими растениями, люблю читать их латинские и русские названия; многих из них, особенно трав, я раньше не знал – и теперь как бы сам даю им имена, помогаю соединиться с ними.

Год назад мы с Ольгой тоже ездили и частично прошли по тем местам, где когда-то были Федор Николаевич и Сивцев; видели те же леса и реки, даже собрали свой небольшой гербарий.

Я знаю, что Федор Николаевич часто вспоминал полтора месяца, которые он провел, ходя по засечным лесам, да и я тоже люблю вспоминать наше с Олей путешествие от верховьев Дона до Ряжска.

Даже то, что комментарии к гербарию сделаны почти нарочито сухо, – для меня хорошо: они ничему не мешают и ничего не заслоняют из того, что я помню, но они нужны мне как канва, как вешки, обозначающие дорогу, которую прошел сначала он, а потом, следом за ним, я.

Первые полтора года жизни Федора Николаевича в Воронеже были продолжением его бегства из Москвы, бегства от всего, что было с Москвой так или иначе связано. Он тогда не просто стремился выйти за пределы своего московского прошлого, а оставить между собой и прошлым мертвую зону, как бы «дикое поле» (в нем как раз оказывался Воронеж), так, чтобы две части его жизни, старая и новая, нигде и ни в чем не соприкасались.

В это время Федор Николаевич начинает писать довольно странную повесть. К сожалению, от нее уцелели только фрагменты. Он пока еще в полном смысле «без роду и племени». Зная о близких только имена и даты, в лучшем случае общую канву жизни, он пытается достроить, дополнить до целого то, что лишь намечено; когда звенья отсутствуют вовсе – придумывает, и так, шаг за шагом, надеется вырастить свое родовое дерево.

Он мечтает о близких, родных ему людях, которые множатся, окружают его всё гуще и гуще, и он перестает быть тем одиноким и ото всех отошедшим человеком, каким был в жизни. С настоящими и вымышленными родными Федор Николаевич щедро делится всем, чем может, в частности, прототипом отца становится уже известный читателю Зара; вообще род, наследование, семья, отец в разных транскрипциях и трансформациях почти маниакально присутствуют в каждой части рукописи; город Нанков – это, конечно же, Воронеж; нетрудно найти и другие реминисценции.

Но не всё в этом повествовании однозначно и просто; у Федора Николаевича были очень высокие представления о справедливости, к своей жизни он по-прежнему относился жестко, даже жестоко, еще не научился себя прощать, вообще прощать жизнь; многое в повести – памятник этому. Например, несколько новелл, две из которых приписаны журналисту-«известинцу», – не только о времени, убившем всю его семью: в них и сам Федор Николаевич введен и приравнен к этому времени. Всё же я думаю, что идущее ниже так или иначе есть реабилитация прошлого, всех и всего, что в нем было.

В семь лет я научился читать, в восемь прочел Гоголя. День моего рождения – 13 марта (25 марта по старому стилю) – странным образом совпал с днем, когда майор Ковалев обнаружил, что у него исчез нос. Мой нос чрезвычайно велик, он всё время стоит у меня перед глазами, и тогда, и сейчас он причинял мне немало огорчений, – но он не похож на нос майора. Много раз я перечитывал рассказ, пытаюсь точнее определить несомненную для меня связь между пропажей носа Ковалева и моим рождением, и наконец понял: не мой нос, а я сам – нос Ковалева. Своей догадкой я поделился с матерью, которую очень любил и которой во всём доверял; отцу я не стал ничего рассказывать: этот факт мог его огорчить и надолго выбить из колеи. Он и так считал себя виноватым передо мной. Мать пыталась меня успокоить и разуверить в казавшейся ей позорной связи. Аргументы ее были чисто женскими, она говорила, что очень меня любит и, без сомнения, не могла бы так любить ковалевский нос. Правда, один довод был разумен, не знаю, где она его вычитала, – оказалось, что сюжет «Носа» «бродячий». Моя бедная мама разыскала чуть ли не все рассказы, где были «беглые» носы, однако совпадение даты моего рождения с датой, когда майор потерял свой нос, объяснить ничем, кроме случая, не могла.

С шестнадцати до двадцати четырех я занимался только стихами; я писал о воде, дожде и снеге, писал о траве, когда мне казалось, что она течет, как вода. Я понял, что у всего, что я

вижу, есть свой язык, свой словарь, – и достаточно переписать слова: как угодно, без смысла, без рифмы и размера, – и любой увидит то, что видел я: дорогу, лес или поле.

Когда-то давно я жил в Коломенском, в большом шестнадцатиэтажном здании на набережной. В городе природу, равную прямоугольнику неба над головой, не чувствуешь. В Коломенском всё было по-другому. Река, огибающая дома, незастроенный противоположный берег отдаляли и отгоняли город, который в ясную погоду был виден почти весь. Погода менялась каждый час, воздух густел, и постепенно в тумане исчезали сначала дальние, а потом и ближние дома, берег и река, черные пятна барж, скользя где-то между небом и водой, проплывали почти у самых окон, часто слышались длинные резкие гудки. Потом светлело, снова, как после дождя, появлялся город – и всё дальше, дальше и дальше, до самых крайних пределов зрения. Так бывало по многу раз в день. Казалось, что воздух беспрерывно пульсирует, а вместе с ним увеличивается и сжимается округа.

Помню, что сначала я целые дни проводил у окна, следя за изменениями погоды и за рекой, которой в Москве очень мало, потом мне уже не надо было подходить к окну, чтобы узнать, что погода переменялась, – я чувствовал это и так. Мои настроения, мысли и писания стали зависеть от нее целиком. Тогда же, наблюдая за воздухом, небом и водой, я понял, как тесно всё друг с другом связано, как легко одно перетекает в другое и разные вещи сливаются воедино. В стихах я как раз и хотел передать эту текучесть, эту близость и легкость перехода одного в другое, я хотел показать, что во всём, что мы видим, нет никакого порядка, никакой иерархии, что всё существует одновременно, всё соприкасается со всем и от всего зависит, поэтому я и писал сначала без знаков: я хотел, чтобы все слова, как и всё в этом мире, стояли рядом со всеми, я хотел, чтобы первая строчка переходила и во вторую, и в последнюю, и в любую другую, а знаки, особенно точки, так разделяли всё.

Когда мне исполнилось двадцать три года, родители отнесли стихи знакомому редактору. Он сказал, что такое можно писать, имея машину, трехкомнатную квартиру и дубленку, и что даже тогда к ним нужен «паровоз». Ни того, ни другого, ни третьего у меня не было. Родители были разочарованы, я тоже. Из разговора с редактором я сделал единственный вывод – пора браться за ум. Через пять лет я окончил факультет журналистики и был распределен в райцентр Нанков заведующим отделом комвоспитания местной газеты.

Через три года я был уже главным редактором. Редактор я был хороший и со всеми ладил, некоторые странности поведения мне охотно прощали. Своих стихов в газете я так и не напечатал.

В Нанкове я снова вернулся к повести о своей жизни. Я писал ее, как и тогда, в двадцать лет, – из детства, глядя на себя оттуда. Я хотел вспомнить и сохранить все свои беды, все страхи. Раздвоенность хорошо видна на ее страницах. Возвращение носа к майору Ковалеву не вернуло мне здоровья, на всю жизнь я остался печальным и нерешительным. Вот несколько кусков из нее:

«Итак, я снова оказался в этом маленьком захолустном городке. “Через четыре года” – мысль пришла как-то сама по себе, не прерывая узнавания дороги, старых домишек с цветными потускневшими наличниками, заборов, подпирающих тяжелые яблоневые ветви. Ноги привычно обогнули угол, город неожиданно кончился, но улица шла дальше, перебиралась через речку и уже на холме упиралась в высокий бетонный забор с аккуратно оставленным в нем узким отверстием для калитки и большой темной проходной.

Последние двадцать метров дорога тянулась между унылыми от небесной сухости цветниками с поникшими анютиными глазками, засохшей травой и сухими палками-стеблями каких-то больших и, наверное, ярких растений. Рядом с калиткой, там, где проходная целиком закрывала стоящее торцом здание завода, улица раздваивалась, и часть ее, пройдя в узком коридоре между забором и цветником, поворачивала за угол и, словно тормозя, растекалась около широкого каменного крыльца столовой. За высокими стеклянными дверями, среди отра-

жений и солнечных бликов, был виден зал со множеством столов телесного цвета, плиточный пол, рельсы с кассой в конце, по которым каждый день чередой двигались подносы с белыми тарелками, украшенными несмываемым клеем торгующей организации».

В Нанкове всё так и было: заводская столовая, занавеска, дрожащая от сквозняка, а за ней – маленькая пивная. В пивной я бывал каждый вечер. Я сидел там и мечтал о парижских кафе. В моем воображении они больше всего смахивали на дамские шляпки – маленькие, без стен, открытые со всех сторон домики, вылезавшие на тротуар, с обязательной клумбой больших ярких цветов на крыше. Зимой домики обрастали стенами из стекла и на фасад сверху свисали длинные тонкие растения, по которым текла вода. Я сидел где-нибудь в закутке, съездившись, чтобы сбегать тепло, и смотрел на людей в мокрых блестящих плащах, на отблески света в стеклах...

В Нанкове я не спился, но, думаю, останься я там еще на несколько лет, всё было бы по-другому. Я это понимал. Тогда же мне рассказали историю о богатейшем русском помещике, который до революции каждый год выезжал в Монте-Карло и в казино, играя в рулетку, ставил на все номера сразу. Быть может, он хотел всегда угадывать, всегда выигрывать или был провидец: после революции, когда у него не осталось ни гроша, правление казино за бескорыстие назначило ему пожизненную пенсию. Я тоже готовил себе старость. Толстая, разляпистая Таня, наливавшая пиво, любила меня, как почти все женщины старше сорока лет, – моим соседям по столику, да и другим, нередко перепадала от меня лишняя кружка; я хорошо слушал, и это ценили. Судьба отблагодарила меня странным, но еще более щедрым образом.

Одним из моих постоянных соседей по стоящему в самом углу столику был слесарь, хохол Василий. В нашем городе он появился незадолго до меня, и это нас сблизило. Работал он здесь же, на заводе, здесь же и спивался. Делал он только самую тонкую работу. Руки его были городской достопримечательностью. Мой предшественник на посту редактора хотел сделать из него героя труда (он же нас, кстати, и познакомил), но Василий остался холоден ко всем статьям о себе, пил и ничего не замечал.

Что бы кто сейчас ни говорил, история его вполне удивительная. До сорока лет он жил с женой на Украине – вытачивал уникальные инструменты и в рот не брал спиртного. В сорок лет его записали на курсы марксизма-ленинизма. Заниматься ему было интересно. Он старательно конспектировал работы, которые проходили на курсах, много читал и сам. Ему нравились их идеи, но еще больше то, как они к ним шли, как они их «делали». Это было другое, но, несомненно, близкое, родственное ему «машинное» мышление. Огромные заводы и фабрики производительных сил, длинные последовательные цепи доказательств, вытачивающие из хаоса человеческих связей детали производственных отношений.

Маркс, Энгельс и Ленин представлялись ему инженерами, особенно почему-то Энгельс. Когда он смотрел на его портрет, ему всегда вспоминалась мать, которая всю жизнь мечтала, что он выучится на инженера, но так и не дождалась. После школы сразу пришлось идти на завод: кончались сороковые годы, есть было нечего. И вот теперь, почти через четверть века, снова сев за парту и тщательно, шаг за шагом разбирая ленинское учение о партии нового типа, о том, как и из кого она должна создаваться, как она должна воспитывать массы и руководить ими, он с радостью находил в нем всё больше и больше сходства с любимым, читанным не один раз учебником сопромата.

Весной, перед праздником, когда двухлетние курсы уже подходили к концу и осталось всего несколько занятий по последним работам Ленина, лектор, зная о замечательных руках Василия, попросил его изготовить что-нибудь редкостное к приближающемуся юбилею. Василий согласился не сразу. Ему самому хотелось изготовить нечто достойное учения Маркса – Энгельса – Ленина, как бы ответить им. Он чувствовал в себе силу, но не знал, что же сделать. Лектор, который сам когда-то занимался резьбой по дереву, хотел, чтобы Василий вырезал профили Маркса, Энгельса и Ленина, но Василий чувствовал, что это мало, и не соглашался.

И вот как-то вечером, после смены, читая статью уже смертельно больного Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин» и вновь, как всегда, поражаясь точности его мысли, Василий понял, что́ сделает к юбилею: он вырежет всю статью от первой до последней буквы на рисовом зерне.

До праздника оставалось всего ничего – два месяца. На заводе горел квартальный план и часто приходилось работать по выходным. Успеть было почти невозможно, надежда оставалась только на отпуск, но как раз на этот год профком выделил ему две путевки в санаторий в Крым, о котором жена Василия, Наташа, мечтала много лет. Всё же он решил с ней поговорить.

Не знаю почему, но Наташа сразу согласилась, и тогда, впервые за пятнадцать лет их супружества, Василий понял, что любит ее. В тот же день втайне от всех он начал работать: два часа утром до смены и три часа вечером, а по выходным он сидел, склонившись над микроскопом, весь световой день. Невидимым для глаза движением касался он зерна тончайшим скальпелем, и на его белой поверхности возникали одни за другими штрихи, которые складывались в буквы, слова, фразы ленинской мысли.

7 апреля, в теплый, почти летний воскресный день, когда Василий сидел в комнате и, как всегда, работал, в калитку постучался лектор. Василий вышел к нему, а когда через несколько минут, договорившись об очередном занятии, вернулся домой, – его ждала катастрофа: окно было распахнуто (жена решила проветрить комнату), и в маленькой бархатной коробочке, где он оставил зерно, было пусто. Целый день с лупой ползал он по полу, пытаясь найти его, но напрасно – зерно исчезло. Да он и сам знал, что потерял его навсегда, еще тогда, когда увидел открытое окно. В тот же день Василий уехал из поселка. Пару лет он скитался из города в город, с завода на завод, пока не осел у нас в Нанкове. В его родном городе, недолго посудачив и сойдясь на том, что здесь не обошлось без разлучницы, о нем забыли. Соседи жалели Наташу и помогали ей чем могли.

В тот год на ее огороде вырос какой-то странный, никогда не виданный сорняк. Несколько раз она тщательно пропалывала все грядки и, казалось, избавилась от него, но на следующий год, после первых майских дождей, он появился снова – и так пошел в рост, что заглушил все посадки, даже картошки хватило только до Пасхи. А еще через год не только у Наташи, но и у других не росло ничего, кроме нового сорняка. Это было настоящее бедствие – полпоселка жило со своих огородов, и старый, всеми чтимый учитель биологии Егор Кузьмич послал кулек ярко-алых семян сорняка в Тимирязевскую академию, моля о помощи.

Через три месяца из Москвы приехала большая и, как видно, очень ответственная комиссия (сопровождал ее первый секретарь местного обкома партии). Целый день комиссия вместе с Егором Кузьмичом ходила по домам, расспрашивая хозяев о житье-бытье, о погоде, об урожае. Члены комиссии охотно осматривали заросшие сорняком сады и огороды, и, хотя ничего прямо сказано не было, в поселке сразу поняли, что товарищи приехали из Москвы из-за этой диковинной травы. Через два дня, во вторник, делегация уехала, а в среду утром поселок оцепили войска, никого не впускали и не выпускали, и даже школьный пионерский хор – победитель районного конкурса – не смог поехать на областной смотр.

По поселку сразу же поползли тревожные слухи. Говорили, что здесь замешано ЦРУ: оно погубило поселковые огороды и теперь хочет уничтожить всю страну, сорняк ядовит хуже всякой радиоактивности и может отравить землю на сто лет. Людская память легко связала два происшедших почти одновременно события – исчезновение Василия и появление сорняка, и уже через день в поселке никто не сомневался, что Василий был шпионом. Тогда же толпа народа собралась у дома Василия, чтобы убить Наташу, которую считали его соучастницей, и только вмешательство председателя поселкового Совета, заявившего под присягой, что Наташа первая напала на след преступной деятельности мужа и он бежал из семьи, боясь разоблачения, спасло ей жизнь. Как нередко бывает, соседи, да и другие жители, стыдясь своих нелепых подозрений, теперь наперебой звали Наташу в гости, а некто Пуртов, ее главный ненавистник, ночью прибил на фасад Наташиного дома табличку «Дом образцового содержания».

Табличку он завоевал за неделю до приезда комиссии в упорном соревновании со всей улицей и очень ею гордился.

Вскоре слух о том, что трава ядовитая, и вовсе улегся. Оказалось, что коровы охотно ее едят и дают молока куда больше и жирнее, чем раньше. Этот факт окончательно смутил всех. Не понимая, что происходит, жители были готовы броситься в любую крайность, а когда на десятый день после отъезда комиссии завод из-за нехватки сырья встал, в поселке началась паника. Власти были вынуждены выступить на страницах заводской многотиражки с успокоительным заявлением. Заявление, хотя и составленное в туманных выражениях, могло бы много помочь делу, если бы в тот же день, впервые за пятнадцать лет, на прилавках магазинов не появилось мясо. Мяса было столько, что образовавшиеся сразу очереди уже на следующий день рассосались, а знатоки, не раз бывавшие в Москве, говорили, что и там такое изобилие бывает не часто. Наевшись мяса, люди задумались. Они стали сопоставлять приезд комиссии, прибытие войск, появление мяса – и ужасная мысль зародилась в их головах: уж не подозревают ли всех нас в том, что мы были завербованы шпионом Василием на службу в ЦРУ и, чтобы погубить Родину, по его заданию засадили огороды проклятой травой?

В ту же ночь тысячи жителей поселка, в том числе передовики производства, помня, что только чистосердечное признание может облегчить их вину, отправили в компетентные органы письма, где разоблачали свои преступные деяния. Попутно они сообщали имена всех своих знакомых и соседей, которые также, по их сведениям, были американскими шпионами. К счастью, эти прискорбные действия не имели никаких последствий – войскам, окружавшим город, было приказано уничтожать всё, исходящее из поселка, что они, верные долгу, и делали.

В томительном ожидании прошла еще неделя, а потом как-то утром жители обнаружили, что войска покинули окружающие поселок высоты, а из магазинов исчезло мясо. События, внесшие столько тревоги и сумятицы, на самом деле имели весьма простое объяснение.

Через четыре дня после того, как Егор Кузьмич отправил свою посылку, она попала на стол его старинного приятеля и сокурсника, профессора и заведующего кафедрой ботаники Ивана Архиповича Серегина. Хотя пути их разошлись еще до войны (Серегин сразу же занялся наукой, а Егор Кузьмич в начале тридцатых годов поехал в степной украинский колхоз агрономом), они сумели остаться друзьями, переписывались, а раз в несколько лет и встречались. Пять лет назад, когда Егор Кузьмич вышел в отставку из агрономского звания и осел в поселковой школе учителем биологии, переписка почти заглохла, и вот теперь, получив весточку от старого друга, последнего, кто был еще жив с их курса, Иван Архипович был несказанно рад. Он несколько раз внимательно прочел письмо, тщательно, надев очки, осмотрел присланные зерна и радостно потер руки. Это был, несомненно, новый вид.

«Наконец-то Егору повезло, – думал он весело, – да еще как повезло! Найти в самом исследованном районе страны, чуть ли не в центре Европы, новый вид – это настоящая сенсация. Надо скорее сделать описание растения и послать его за подписью Егора в журнал. Сегодня же доложу о нем на кафедре, а завтра пошлю». Серегин пододвинул к себе старинный цейсовский микроскоп, поместил зерно на подставку и стал медленно крутить винт, наводя микроскоп на резкость. Постепенно мутное розовое пятно стало принимать форму зерна, несомненно рисового, только гораздо крупнее и невиданного для риса ярко-красного цвета. Наконец очертания зерна стали четкими, и Серегин увидел, что всё оно, кроме самого низа, испещрено какими-то штрихами.

«Очень похоже на буквы», – сразу же подумал он и стал переписывать значки на бумагу. Закончив первый ряд, он решил посмотреть, что же получается, и ахнул: на бумаге его почерком были написаны самые настоящие буквы. Дрожащими руками Серегин снял очки и, протерев их, снова надел.

«Это буквы. Вне всяких сомнений, – сказал он себе, – их даже можно читать, и я их прочту, – повторил он, чтобы придать себе больше уверенности. – “Но я не отрицаю в то же

время, что вопрос о нашем госаппарате и его улучшении представляется очень трудным...» – твердо произнес он и, снова склонившись над микроскопом, продолжал читать и писать: «... далеко не решенным, в то же время чрезвычайно насущным вопросом...»»

«А еще говорят, что человек придумал письменность, – со злорадством подумал Серегин. – Всё, всё от матушки-природы, – а мы ее, родную, мучим, насилуем, переделать хотим». К четырем часам дня, когда ему пора было ехать в академию, текст с зерна был переписан и то, что нужно для доклада, готово.

Всю кафедру Серегин вел себя очень нервно, перебивал, что было совсем не в его правилах, окорачивал выступавших и с трудом дождался конца официальной части. Наконец, текущие дела были обсуждены, обязательства приняты, и Серегин, встав со стула, торжественно начал:

– Друзья, – сказал он, – вчера из города Супова ко мне пришло письмо моего старинного приятеля Егора Кузьмича Т., в котором я, к своему несказанному удивлению, обнаружил описание нового вида сорняка. Да, да, – повторил он, заметив скептические улыбки сотрудников, – новый вид сорняка в центре Украины. Сейчас я зачитаю вам, что о нем пишет Егор Кузьмич, а потом познакомлю с собственными изысканиями.

Через двадцать минут, закончив чтение письма, профессор Серегин сказал:

– А теперь нечто еще более поразительное: поместив сегодня зерно под микроскоп, я обнаружил, что оно покрыто какими-то значками. Всмотревшись, я увидел, что это обыкновенные русские буквы. Да, обыкновенные русские буквы. На всех зернах буквы одни и те же, так что это не случайность, а несомненный видовой признак. Все их я переписал на бумагу и теперь зачитываю вам то, что получилось. «Но я не отрицаю в то же время, что вопрос о нашем госаппарате...» – начал он хорошо поставленным лекторским голосом...

Профессор еще не кончил, когда с кафедры, извинившись, тихо вышел доцент Кузин, через пять минут он вернулся, а еще через десять заседание было неожиданно прервано тремя дюжими санитарями со «Скорой помощи», которые увезли Серегина в районную психиатрическую клинику. В тот же день уборщица выкинула в окно злосчастные семена, а еще через месяц, когда хронический характер заболевания профессора стал всем очевиден, доцент Кузин был избран на давно вожаемый пост заведующего кафедрой ботаники.

В психиатрической клинике Серегин провел около трех месяцев. Сначала его положили в обычное отделение, но там он вел себя так кротко, так достойно сносил свалившееся на него несчастье, что уже через две недели его, в нарушение всех правил, перевели в санаторное отделение, куда обычно помещали уже выздоравливающих больных. Интенсивное лечение профессора, к огорчению врачей, не дало почти никакого эффекта. По-прежнему его во всём адекватное поведение резко контрастировало с так неожиданно обнаружившейся манией, которую врачи называли «манией красного зерна». Через три месяца дальнейшее пребывание Серегина в больнице ввиду его безвредности и явной неизлечимости было признано излишним, и он был выписан с длинным диагнозом, суть которого сводилась к следующему: на почве прогрессирующего старческого склероза у профессора Серегина развился маниакальный психоз; болезнь приняла хронический характер, что обычно для больных в его возрасте, однако состояние стабильное и признаков ухудшения не наблюдается, больной для окружающих не опасен и может быть передан на попечение родственников. Незадолго перед выпиской заведующий отделением вызвал Серегина к себе и сказал: «Мы вам можем оформить первую группу инвалидности, однако буду с вами откровенен – шансов на излечение мало, и я бы посоветовал просто выйти на пенсию. Так проще, спокойнее, да и денег вы будете получать рублей на сто больше, что немало».

Две недели Серегин просидел дома, никуда не выходя, а потом, узнав число, на которое был назначен Ученый совет, отправился в институт улаживать свои пенсионные дела. В этот день легче было застать всех, кто был ему нужен.



Медленными, осторожными шагами человека, долго лежавшего в больнице, подошел он к зданию своего факультета и замер: всё крыльцо густо заросло высокими, никогда не виданными им растениями с большими колосьями ярко-красных зерен.

«Ага, – сказал он, приходя в себя, – меня признали сумасшедшим, а ты все-таки выросло».

Он сорвал несколько колосьев и, вышелушив их, вошел в вестибюль. Вахтер Петрович, знавший его тридцать лет, бросился к нему с приветствиями, но на полпути осекся и, сухо сказав: «Здрасте», сел на свой стул. Это напомнило Серегину двойственность его положения и сделало осторожнее. Крадучись, поднялся он на третий этаж по лестнице еще пустого (кончались летние каникулы) корпуса и отпер своим ключом маленькую угловую комнату, где им еще в незапамятные времена была оборудована лаборатория.

Кто-то здесь уже успел похозяйничать, но цейсовский микроскоп стоял на месте. Серегин снял его, положил зерно на подставку и стал, как три месяца назад, крутить винт, наводя микроскоп на резкость, только сейчас руки его дрожали. Он медленно поворачивал винт, пока размытое розовое пятно, как и тогда, не превратилось в зерно. Еще поворот винта, еще полповорота – и на гладкой красной поверхности проступили четкие, крупные, как будто только что написанные буквы.

«Но я не отрицаю в то же время, что вопрос о нашем госаппарате и его улучшении представляется очень трудным», – четко читал Серегин, с радостью убеждаясь, что текст не изменился ни на йоту. – Значит, все-таки буквы, – сказал он с иногда просыпавшимся в нем ехидством. – Буквы есть, а мании нет. Буквы есть, а мании нет», – снова повторил он весело и, взяв в руки микроскоп, вышел из лаборатории. На его счастье, Петрович куда-то отлучился, и Серегин сразу же направился к главному корпусу, где сейчас проходил Ученый совет.

Когда он вошел в конференц-зал, все повернулись к нему, но ректор тихо покачал головой, как бы давая всем понять, что не надо обращать на Серегина никакого внимания, и, на секунду прервавшись, течение совета возобновилось вновь. Серегин сел рядом со своим хорошим знакомым, профессором Полуэктовым, и через несколько минут, убедившись, что никто на него не смотрит, тихо тронул Полуэктова за локоть и пододвинул к нему микроскоп. Полуэктов понял, что Серегин предлагает ему посмотреть в микроскоп, понял он и то, что делать этого не надо, но доклад был так скучен, конец его был еще так далек, а душа Полуэктова так жаждала новых впечатлений, что он украдкой, бочком наклонился над ним. Из окуляра на него глядело большое красное зерно, сплошь исписанное красивыми четкими буквами.

«О, боже, – подумал Полуэктов, – это заразно. Я, кажется, тоже схожу с ума». И он быстро продвинул микроскоп дальше, к профессору Сомову.

Через полчаса, когда микроскоп перебивал почти у всех членов Ученого совета, шум в зале стал так силен, что ректор счел себя обязанным прервать заседание. Он постучал карандашом о графин и сказал:

– Товарищи, мы обсуждаем важный вопрос – социалистические обязательства на год. Хватит баловаться с микроскопом. Вы же взрослые люди.

– Но на зерне действительно написаны буквы, – прервал его известный институтский правдолюбец доцент Зотов.

«Действительно буквы», – поддержали его остальные.

– Это провокация! – выкрикнул новый заведующий кафедрой ботаники доцент Кузин.

– Товарищи, что за чушь, – ректор снова постучал о графин, – профессор Серегин, ваш коллега, был тяжело болен, только что вышел из больницы, а вы издеваетесь над ним...

– Но там действительно буквы, – упрямо произнес Зотов и, взяв микроскоп со своего стола, поставил его перед ректором.

Тот наклонился над ним, лицо его начало сереть, он рывком расстегнул ворот рубашки и через несколько минут, отдышавшись, устало сказал:

– Товарищи, сегодня очень жарко. У нас галлюцинации. Может быть, зерно обладает наркотическими свойствами. Нам надо разобраться, что это за зерно, что на нем написано и кем. Я думаю, что Ученый совет стоит отложить на неделю.

Все подняли руки.

Через неделю, как и было предусмотрено, состоялось расширенное заседание, на котором присутствовало несколько членов Академии наук, а также товарищ из ЦК. Заседание было закрытым. За прошедшую неделю ректору и профессору Серегину удалось сделать немало. Тщательный анализ растения показал, что оно, несомненно, близкий родственник риса и отличается не только необыкновенной плодovitостью (по некоторым оценкам, в десять раз превосходящей обычную), но и отменными питательными качествами. Ректору с помощью кафедры истории КПСС и философии удалось выяснить, что текст на зерне, за исключением шестой строки сверху на третьей странице, где вместо «мы не должны» надо читать «мы должны», идентичен работе В.И.Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин», переписанной, правда, не целиком, без последней страницы.

Новое заседание совета было очень бурным. Группа ученых, возглавляемая доцентом Кузиным и несколькими философами из Академии общественных наук, настаивала на том, что растение к нам заслано западными разведывательными службами в провокационных целях (то же, как мы знаем, думали и жители поселка). В доказательство они ссылались на вкраившуюся в текст ошибку, по их мнению, полностью искажающую ленинскую мысль, а также на фальшивый тезис генетиков, утверждающих, что приобретенные признаки не могут наследоваться. Большинство ученых, однако, высказывалось за дальнейшее изучение нового вида, считая, что его биологический потенциал поможет стране навсегда ликвидировать недостаток зерна. Впрочем, и они считали, что дело это должно быть полностью засекречено. На том же заседании профессор Серегин был восстановлен в должности заведующего кафедрой ботаники. О результатах Ученого совета было доложено на самом верху, и там приняли решение направить комиссию в Супов для подробного изучения положения на месте. Через день комиссия выехала.

Уже первые ее сообщения о плодovitости и неприхотливости растения превзошли самые радужные предсказания. Члены комиссии также доложили в Москву, что растение является автохтонным для Супова и что его появление, возможно, как-то связано с исчезнувшим полтора года назад слесарем местного завода Василием Зерновым, на огороде которого растение было замечено впервые. Когда комиссия вернулась и представила отчет, немедленно было приказано полностью блокировать город, чтобы воспрепятствовать распространению как самого растения, так и всякой информации о нем.

Органами уже через день Василий был разыскан и допрошен. На допросе он показал то же, что не раз рассказывал и мне. Хотя Василий произвел самое благоприятное впечатление, районные власти решили на всякий случай задержать его на несколько дней. Прошла неделя, никаких указаний на его счет ни из Москвы, ни из области не поступало, – и его выпустили; Василий вернулся на завод, и жизнь пошла своим чередом.

Поселок был в окружении около месяца, пока в середине сентября в Академию наук и Тимирязевку из разных концов страны не пошли косяком письма о растении с ярко-красными семенами – новый сорт риса, как писали потом газеты, начал свое триумфальное шествие. Блокада поселка стала бессмысленной, и войска вернулись в казармы.

Тогда же был образован огромный исследовательский центр, в который собрали умельцев со всей страны. В течение пятнадцати лет вырезали они на овощах и фруктах работы Ленина и других классиков марксизма-ленинизма, надеясь, что и их труд поможет поднять наше сельское хозяйство, но безуспешно. Наконец, после долгой полемики, ассигнования на центр были урезаны, начались сокращения, а потом центр и вовсе закрыли.

Как только новый сорт риса стал известен за рубежом и там начались его широкие посадки, он занял центральное место и в идеологической борьбе. Западные советологи, пыта-

ясь умалить достижения советского народа, писали, что появившийся в результате мутации сорт нисколько не опровергает их мнение о бесплодности марксизма-ленинизма. Ожилились и клерикалы: они утверждали, что Господь Бог водил рукой Василия, когда он вырезал ленинскую статью на рисовом зерне. В случайной ошибке Василия, написавшего вместо «мы должны» «мы не должны», и в исчезновении зерна, не давшем Василию закончить работу, они также усматривали промысел Божий. Когда же их спрашивали, почему для своих целей Господь выбрал советского рабочего-атеиста, они поднимали глаза к небу и, разводя руками, говорили: «Пути Господни неисповедимы». Но наибольшую активность развили ревизионисты всех мастей и окрасок. Всё в той же случайной описке Василия Зернова они увидели подтверждение своего права ревизовать марксизм-ленинизм. Их теоретики снова кричали на всех углях, что он устарел и нуждается в исправлении.

Однако страны «третьего мира» не поддались на уловки Запада и не дали себя обмануть: они видели, что победить голод, терзавший их народы многие века, ежегодно уносивший миллионы жизней, им помог не капитализм, а Ленин и простой советский рабочий Василий Зернов. Уже через год, когда был собран первый урожай нового сорта риса, принесший в каждый дом достаток и довольство, эти страны стали в огромном количестве закупать микроскопы и сверхсильные лупы. Спрос на них и сейчас так велик, что, наверное, пройдет не один год, прежде чем в каждом доме, в каждой семье, у каждого человека будет свой микроскоп. Но уже сегодня миллионы и миллионы сытых жителей Азии, Африки и Латинской Америки, прежде неграмотные, склонившись над микроскопом, читают Ленина по-русски. Они читают его статью, читают ее последнюю страницу, размноженную в миллиардах экземпляров, читают другие работы Маркса, Энгельса, Ленина, и марксизм без единого выстрела, без единой капли крови завоевывает их сердца.

В течение года новый сорт риса сделал Василия Зернова самым популярным человеком планеты. У нас в стране ему присвоили звание Героя Социалистического Труда, избрали почетным академиком ВАСХНИЛ (Егор Кузьмич и профессор Серегин также были избраны действительными членами ВАСХНИЛ). В Нанков почти ежедневно приезжали крупнейшие писатели и журналисты, и наши, и из-за рубежа, кино- и телесъемочные группы, любое издательство было готово за месяц издать книгу о его жизни, – но Василий оставался глух к собственной славе, по-прежнему работал на заводе (это, кстати, всем очень импонировало), по-прежнему пил и ни с кем, кроме меня, не хотел разговаривать. На Западе уже вышли многочисленные книги о нем, основанные по большей части на вымысле да на бесконечных интервью его жены Наташи, которая никогда не была ему близка и знала его, несмотря на пятнадцать лет брака, очень плохо. В конце концов, когда дальнейшая оттяжка с публикацией официальной биографии Василия Зернова стала невозможной, наверху после долгих сомнений и колебаний сочли себя вынужденными поручить ее мне. Я был переведен в Москву и назначен спецкором «Известий».

В «Известиях» я в итоге проработал десять лет, но, только уже уходя оттуда, на отдыхе, в санатории под Рузой, я наконец почувствовал себя маститым «известинцем» и всего за неделю, не отрываясь, написал еще один очерк, который потом вошел в мою книгу «Из записок корреспондента».

## Важное задание

В августе 1946 года я наконец-то получил приказ о демобилизации. Неделю я, улаживая свои дела, как сумасшедший носился по Брно, где тогда находились штаб 7-й гвардейской танковой армии и редакция нашей газеты «Во славу Родины», а 2 сентября, пьяный и веселый, какими мы были во все дни этого лета, я был посажен вместе с моим однополчанином и одноклассником Костей Кострюковым в эшелон, идущий на восток, домой. 10 сентября наш поезд остановился у перрона Киевского вокзала.

В Москве была уже совсем другая жизнь, война здесь помнилась меньше, чем где бы то ни было. Две недели я старательно, как школьник, заново учился быть штатским, но уже в конце месяца блаженному безделью пришел конец: моя журналистская карьера, начавшаяся в корпусной газете в январе 1944 года (до этого я два года провоевал стрелком-радиостом, трижды горел), сделала неожиданный поворот – мне предложили стать корреспондентом «Известий». Разумеется, в этом назначении не меньшую роль, чем мои таланты и анкетные данные, сыграла дружба отца еще со времен гражданской войны с замом главного редактора «Известий» Николаем Ивановичем Елистратовым, но это к делу не относится. Так я попал в «Известия», в отдел коммунистического воспитания, где проработал больше пятнадцати лет.

В первые три месяца работы в «Известиях» я опубликовал четыре статьи, которые прошли неплохо, но особой известности мне не принесли, а я, как всякий не лишенный честолюбия новичок, мечтал выдвинуться как можно скорее. За это время я несколько раз встречал на улице Кострюкова, и всегда он был пьян. От общих знакомых я слышал, что послевоенная жизнь его не сложилась. Восстанавливаться в пединституте, где учился до фронта, он не стал и пошел преподавать математику в ФЗУ. Вскоре после возвращения он женился на Лидии, нашей однокласснице, в которую была влюблена вся школа. Лидия была необычайно хороша, и я до сих пор не понимаю, что она нашла в Косте; кажется, всеобщий послевоенный бабий психоз остаться без мужика захватил и ее.

Так или иначе, через полгода Лидия сообразила, что Кострюков ей не пара. У них пошли ссоры, свары, как-то он ее побил. Потом Лидия начала исчезать из дома, Кострюков запил, а она вскоре и вовсе пропала. Обнаружилась Лидия только под Новый год, в связи с разводными делами. Жила она теперь через две улицы от Кострюкова с каким-то лейтенантом МГБ, за которого и собиралась замуж. Дважды Кострюков, как всегда пьяный, подкарауливал ее у подъезда и пытался силой затащить к себе, оба раза она с трудом отбилась. Наконец ей это надоело. Как-то днем она сама пришла к нему домой (Кострюков уже месяц как был выгнан за пьянство из своего ФЗУ) и спокойно сказала, что, если он от них не отстанет, лейтенант, которому она всё про него рассказала, арестует его.

Знала Лидия про него многое, и Кострюков испугался. Сразу же после свадьбы он рассказал ей, что человек, фамилию которого он носит, вовсе не его отец, а дядя, брат его матери. Его настоящий отец – кулак. В тридцать первом году, когда их область попала в район сплошной коллективизации, они все были выселены. Везли их в Сибирь. На маленькой станции недалеко от Кургана отец его, до этого всё время говоривший, что везде жить можно, а в Сибири тем более какой-нибудь уголок они себе всегда сыщут, – так вот, на той станции отец вдруг отвел его в сторону, дал буханку хлеба и велел бежать в Тулу искать материного брата дядю Колю, работавшего там на оружейном заводе. В том же, тридцать первом году дяде Коле удалось как-то за взятку записать его своим сыном, а через год они переехали в Москву. Только перед самым фронтом, на проводах, дядя Коля сказал ему, что еще в тридцать пятом все родные его погибли.

Сказал он Лидии и о том, что в начале августа сорок первого года попали они под Смоленском в окружение – он и еще два солдата, из того же взвода. К своим они пробирались

больше трех месяцев, шли только по ночам, в деревни не заходили – боялись. Обмундирование они выменяли на гражданскую одежду вскоре после того, как отбились от своих и поняли, что находятся у немцев в глубоком тылу, однако оружие и документы сохранили. Это да то, что вышли они из окружения вместе, втроем, их и спасло, когда зимой сорок первого года во Владимире допрашивал их капитан СМЕРШа, всё пытаясь добиться, что они немецкие шпионы. Как же ему было поверить им, когда из всего полка они только втроем и уцелели? Но они и на отдельных допросах, и на очных ставках показывали одно и то же, и капитан в конце концов отпустил их, только разбросал по разным частям.

Всё, что говорили они следователю, было правдой, не узнал он только, что, как загнали они свою форму, договорились и в немцев не стрелять (у них у троих и двух десятков патронов не осталось), будто и в самом деле война теперь для них кончилась, и что трижды, когда нападывались на немцев – все три раза ночью, это их и спасло, – выбрасывали на всякий случай и оружие, и документы, и только потом – один раз им пришлось ждать ухода немцев целую неделю – возвращались, находили свое и снова шли на восток.

Еще в сорок втором году, когда их распределяли по разным частям, они дали друг другу слово через два месяца после конца войны или после демобилизации списаться и встретиться в Москве у Кости – если, конечно, уцелеют; и так всё совпало, что и живы они все остались, и письмо их к Косте пришло на следующий день после его свадьбы. Они уже больше года как демобилизовались, но писать ему первые стеснялись, ждали его письма. Через месяц они приехали в Москву. Все уже были женаты. Прогостили у Кострюкова они почти неделю и накануне отъезда, поздней ночью, когда жёны уже спали, признались друг другу, что нарушили клятву никогда и никому не рассказывать, что было с ними в окружении, и долго смеялись, что весь фронт, все допросы прошли – никто из них ни пьяный ни трезвый ни одним словом не обмолвился, а жёны их в одну ночь раскололи. Кострюков тогда первый и пошутил:

«Вот кого в органы брать – ни одного бы дела нераскрытого не осталось».

А они поддержали – и про органы, и про постель, и про то, кто на этих допросах кого е... будет.

Три недели после разговора с Лидией Кострюков держался. Снова устроился на работу, теперь в соседнюю школу, почти не пил. Но в первую же получку его как прорвало. Начали они с товарищем в «Казбеке», потом перебрались в рюмочную, на бульвар, там он потерял его и дальше, кажется, пил в подъезде вместе с каким-то демобилизованным. Кострюков смутно помнил, что подъезд этот чуть ли не тот, где жила теперь Лидия.

Допив бутылку, демобилизованный пропал, а Кострюков поднялся на третий этаж и позвонил в квартиру Лидии. Она подошла к двери, он слышал шаги, но открывать сразу не стала – ждала чего-то. Кострюков тоже ждал. А потом вдруг тихо запел: «Лидочка, Лидочка, Лидочка-Лидуся, убежала Лидочка от своей бабуси...»

Лидия до замужества жила с бабкой, и Кострюков всякий раз, заходя за ней, пел ей эту песню. Почему-то он был уверен, что это и есть пароль, и теперь она откроет дверь, и всё у них пойдет по-старому. За дверью кто-то негромко, но так, что ему было слышно, сказал: «Подлец».

И тогда, остервенясь, он стал бить ногой в дверь, а потом, видя, что она не поддается, с разбегу всем телом. Дверь стонала, дрожала, ему казалось, что это Лидия, и он снова и снова от другой двери с разгону врезался в нее и орал: «Суки! Б... эмгэбэшные! Пока мы по окопам гнили, вы тут наших баб е...!»

Кто и как доставил его домой, Кострюков не знал. Всю ночь он в муторных отрывистых снах понимал, что для него всё кончено, что он погиб. С похмелья звенящая от боли голова долго не давала ему проснуться, и только когда ощущение безнадежности и непоправимости всего, что случилось, прошло через боль, Кострюков открыл глаза и заплакал. Это было не его обычное похмельное раскаяние – сейчас впервые в жизни он понял смысл слов, которые с дет-

ства слышал десятки и сотни раз: наказание неотвратимо, только искреннее и чистосердечное признание может облегчить вину.

С трудом, руки и ноги плохо его слушались, он встал с кровати и, подсев к столу, взял верхнюю из стопки тетрадку с контрольными его учеников. Сначала он хотел выдрать исписанные листы, но потом не стал и, просто перевернув, начал писать с последней страницы. «В Министерство государственной безопасности от гражданина Кострюкова Константина Николаевича...» Далее он оставил пустое место, потому что не знал, как назвать то, что пишет, и лишь потом вписал: «Признание».

«25 февраля 1947 года я, гражданин Кострюков К.Н., проживающий по адресу: ул. Забелина, д. 7, кв. 11, в пьяном виде устроил дебош на лестничной площадке третьего этажа дома № 13 по ул. Пряхина, перед квартирой № 17, где сейчас проживает бывшая жена Кострюкова К.Н. Лидия Кострюкова, вышедшая замуж за лейтенанта войск МГБ. Дебош сопровождался антисоветскими высказываниями: “Суки, б... эмгэбэшные, пока мы по окопам гнили, вы тут наших баб е...”».

Кончилась первая страница, Кострюков поглядел с отвращением на написанные им грязные, ломаные буквы, на размытые слезами слова, перевернул ее и понял: следовательно будет, безусловно, важно знать, что это было – случайное высказывание или намеренная антисоветская агитация. Начиная писать свое признание, Кострюков был уверен, что он имел в виду только нынешнего мужа Лидии, – но почему тогда он не назвал его по имени (Сергей) или по фамилии (Пастухов), почему кричал во множественном числе: «Ах вы б...»? Он даже не знал, был ли этот лейтенант на фронте, – может, и был. Кострюков снова открыл первую страницу и, зачеркнув всё, что касалось дебоша, стал вверху писать: «Кострюков К.Н... вел на лестничной площадке третьего этажа дома № 13 по улице Пряхина антисоветскую агитацию и пропаганду, сопровождаемую пьяным дебошем». С удовольствием он увидел, что рука почти не дрожит, буквы выходят ровные и твердые, да и голова постепенно начала отпускать. Теперь всё было правильно. Кострюков хотел уже выдрать лист из тетрадки, когда понял, что работа его далеко не закончена.

Чтобы узнать преступника и правильно оценить меру его вины, следовательно надо выяснить, занимался ли он антисоветской агитацией с заранее обдуманной намеренностью или это решение созрело у него только на площадке третьего этажа, перед квартирой нового мужа Лидии. Сначала Кострюков думал, что оно появилось у него только там, уже после того, как он понял, что Лидия не откроет ему. До этого он обмывал первую получку с приятелем в «Казбеке», потом в рюмочной, и даже не собирался идти к Лидии. Но ведь кратчайший путь от школы до дома Лидии вел как раз мимо «Казбека» и мимо рюмочной. Не было ли это попыткой скрыть ото всех и даже, возможно, от себя истинное свое намерение? А водка и в «Казбеке», и в рюмочной, и та последняя бутылка, выпитая им уже в подъезде Лидии, нужна была лишь для того, чтобы перебороть страх.

Кострюков снова перевернул страницу и продолжал: «25 февраля я решил начать антисоветскую агитацию; чтобы направить следствие по ложному пути, я позвал приятеля в ресторан “Казбек”, а потом в рюмочную, объяснив свое предложение первой получкой. Водка была нужна мне, чтобы перебороть страх. Недалеко от дома Лидии я купил еще одну бутылку и пригласил демобилизованного солдата распить ее со мной. Я завел его в подъезд, где живет Лидия, говоря, что на улице пить не принято. Моя цель заключалась в том, чтобы затушевать истинный характер моих действий и загнать антисоветскую агитацию и пропаганду под хулиганский поступок, вызванный ревностью».

Слова ложились одно к одному, голова совсем прошла, и теперь, оставленная болью, была как свод, гулкий, холодный и высокий. Всё было так четко и правильно изложено, что теперь ему казалось, что пишет не он, а сам следователь. Страх и вина, давящие его с тридцать первого года, с той маленькой уральской станции, на которой отец сказал ему: «Беги к дяде Коле» –

и он послушался и побежал, страх, который не оставлял и на фронте, наконец-то отпустил его. Кострюков знал, что раскрыть само преступление – это только полдела; не менее важно найти его истоки, выяснить, почему он, родившийся уже в советское время, ходивший в ту же советскую школу, что и его сверстники, стал врагом своей Родины. Только найдя и обрубив корни преступлений, можно будет навсегда избавить от них общество.

«Антисоветская деятельность Кострюкова К.Н. была далеко не случайной. Еще на фронте Кострюков К.Н. фактически предал Родину, и только внешние, не зависящие от него обстоятельства не позволили ему нанести прямой ущерб нашей стране. В августе 1941 года под Смоленском часть, в которой проходил службу Кострюков, попала в окружение. Хотя бойцы Кострюков К.Н., Климов П.В. (ныне проживающий по адресу: Макеевка, ул. Челюскинцев, д. 7, кв. 12) и Строгов Г.И. (г. Курск, ул. Дзержинского, д. 4, кв. 22) не решились сразу перейти на сторону немецко-фашистских захватчиков, они при первой возможности обменяли свое обмундирование на гражданскую одежду и договорились, если натолкнутся на немцев, не стрелять – чего стрелять, когда война небось уже давно кончилась и немцы в Москве жируют. 7 декабря 1941 года Кострюков, Климов и Строгов вышли в распоряжение советских войск. В тот же день они были арестованы и допрашивались следователем СМЕРШа капитаном Зотовым. Дознание, однако, велось небрежно: Кострюкову, Климову и Строгову удалось скрыть факт своего предательства и добиться полной реабилитации. 22 сентября 1946 года во время посещения Климовым и Строговым Кострюкова выяснилось, что их жены – Варвара Климова и Наталья Строгова – знали о предательском поведении своих мужей на фронте, но ничего не сообщили в компетентные органы, тем самым став соучастницами преступления».

Кострюков понимал, что его измена Родине была так же не случайна, как и его антисоветская деятельность.

«На самом деле Кострюков К.Н. не был сыном Кострюкова Николая Евграфовича, рабочего тульских оружейных заводов, и его жены Антонины Тихоновны, и рожден он был не в Туле, как записано в паспорте, а в деревне Ивановский Починок, находящейся в 108 километрах от Тулы. Настоящими родителями его были проживавший в этой деревне кулак Ступин Александр Тимофеевич, чью фамилию он и носил до одиннадцати лет, и родная сестра Николая Евграфовича Кострюкова Наталья Евграфовна.

В 1931 году, после того как Тульская область стала районом сплошной коллективизации, решением сельского схода семья Ступиных была объявлена подлежащей выселению. На станции Нечка на Урале Константину Ступину с помощью отца удалось бежать из эшелона. По совету отца он направился в Тулу к Николаю Евграфовичу Кострюкову, брату матери, который не только согласился его принять, но и с целью скрыть его происхождение сумел за взятку записать Константина Ступина своим родным сыном Константином Кострюковым. Боясь разоблачения, Николай Евграфович Кострюков немедленно после оформления документов переехал на жительство в Москву (ул. Житная, д. 3, кв. 5)».

Признание было кончено. Кострюков вырезал исписанные листы, запечатал конверт и, спустившись вниз, опустил его в почтовый ящик. Через три дня он был арестован.

В конце зимы 1947 года я был официально вызван к Николаю Ивановичу Елистратову (неофициально у него или у нас дома мы виделись довольно регулярно). Почему-то я понял, что этот вызов будет решающим в моей судьбе корреспондента «Известий». Я поднялся с нашего второго на четвертый этаж, прошел налево длинный широкий коридор, который кончался маленькой залой с фикусом, канцелярским столом и пишущей машинкой на нем – вотчиной секретаря Николая Ивановича Гизеллы Петровны. Меня уже ждали. Николай Иванович попрощался с кем-то по телефону, он рукой указал мне на стул. Я сел. «Ну вот, – сказал он, кладя трубку, – теперь мы можем спокойно поговорить».

Минут пять он расспрашивал меня о последней статье, о доме, об отце, еще не вернувшемся из Ессентуков, а потом вдруг, без всякого перехода, сказал: «Сергей, помнится, месяца

три или четыре назад вы жаловались, что с трудом привыкаете к штатской жизни. Ну, и как перековка?»

«Нормально», – улыбнулся я.

«Да, – продолжал Елистратов, – сейчас вся страна перестраивается к мирной жизни, становится на новые рельсы. А это не просто, для одного человека не просто, а тут вся страна, да еще какая огромная – шестая часть света. Сережа, я ведь тогда все ваши рассуждения о фронте запомнил. Вы говорили, что на войне всё было куда проще, понятнее, даже честнее. Были “мы” и были “они”, зло было слито, сконцентрировано в “них”, и каждый, от солдата до генерала, знал, кто его враг. Не слабее прежних и нынешние враги, только теперь, зная, что в открытую, стенка на стенку, с нами не справиться, они прячутся, маскируются под наших людей, и найти их, разоблачить куда как трудно – а надо. Большие беды принесут они стране, если мы не будем бдительны. Всё это, Сергей, вы и сами, конечно, понимаете, но я не зря начал издалека. Вот в чем дело. Для многих советских людей фашизм означал перерыв самой Советской власти. Десятки миллионов прожили два года, а то и больше в зоне оккупации, миллионы были угнаны на работу в Германию, миллионы были в плену, сотни тысяч из них предали Родину, были завербованы немцами, тысячи – американцами и англичанами, и сейчас отрабатывают свои сребреники. Обезвредить их необходимо.

Но есть задача еще важнее. Большинство наших граждан и в условиях фашистского рабства ни на минуту не перестали быть советскими людьми – большинство, но не все. Некоторые из них не выдержали встречи с буржуазным образом жизни, спасовали перед ним. Это и наш провал. Формально эти люди не предали Родину, они не сотрудничали с оккупантами, сразу же, как только представилась возможность, вернулись домой. Формально, повторяю, они не предатели, а по существу – да. Сегодня они, пускай даже невольно для себя, стали проводниками чуждых идей, врагами нашего образа жизни, нашими врагами. Среди них есть и солдаты, прошедшие всю войну, и выявить их, как вы понимаете, намного труднее, чем наших старых противников. Вы, Сергей, перед войной окончили исторический факультет и, конечно, не забыли, что случилось в России через двенадцать лет после войны с Наполеоном. Тогда Россия была «жандармом Европы», и те, кто боролся с ней, боролись за будущее, сейчас наша Россия – освободительница Европы, и все, кто против нее – делом ли, словом ли, – должны быть уничтожены.

Вчера я был на заседании ЦК партии, немало говорилось на нем и о печати. Четыре года мы воспитывали молодежь на Матросовых и Гастелло, грудью бросающихся на врага, но Гастелло и Матросов не помогут нам разоблачить тех невидимых врагов, о которых мы с вами говорили, тут надо действовать умнее, тоньше, если хотите, хитрее. Надо повысить бдительность людей, и тут фронтовая дружба, которая так превозносилась, едва ли не главная помеха. Год назад судьба страны зависела от армии, от наших солдат; сейчас, когда фронт стал невидимым, главный удар приняли органы внутренних дел и тысячи их добровольных помощников – секретных сотрудников. Этих помощников должны быть сотни тысяч, миллионы, должно быть больше, чем сражалось солдат на фронтах Отечественной войны, – на их судьбах, на их подвигах обязаны мы воспитывать нашу смену.

Министерство государственной безопасности уже месяц назад подняло вопрос о публикации материалов на эту тему. Вчерашнее заседание ЦК со всей ясностью указало на это направление как на важнейшее. Только что, Сергей, я разговаривал с подполковником Петровым Александром Дмитриевичем. Он в некотором смысле наш коллега – в МГБ отвечает за связи с прессой. Петров подберет вам материал и даст необходимые инструкции. Завтра в одиннадцать часов он ждет вас у себя. Здание на Лубянке вы, естественно, знаете. Подъезд четвертый. На вахте вас будет ждать пропуск. При себе надо иметь корреспондентское удостоверение и паспорт. Просил не опаздывать».



Без четверти одиннадцать я был уже на Дзержинской. Светло-коричневое, со стороны площади чем-то напоминающее пражские дома, здание МГБ было, казалось, совсем из другого мира: пустынный фасад, зашторенные окна, башенка с часами; коловращение на Кузнецком мосту и на улице Кирова совсем не касалось его. Александр Дмитриевич оказался не только моим земляком – он был тоже с Урала, из-под Челябинска, – но и милейшим человеком. Сразу же у нас установился полный контакт. Сжато, по-фронтальному он обрисовал мне обстановку в стране и то, какой МГБ желало видеть мою статью, после чего выложил четыре объемистые папки с материалами только что закончившихся процессов. Два дела были связаны с бандитизмом в Литве и на Западной Украине, третью, самую толстую, занимали материалы контрреволюционной организации вернувшихся белоэмигрантов, целью которых было убийство т. Сталина, параллельно они занимались шпионажем и вредительством на заводах Владимирской области. Особое внимание Петров попросил обратить на четвертую папку – дело антисоветской организации школьников-старшеклассников.

«Очень тревожный процесс», – сказал он, передавая мне ее. Вручив дела, Александр Дмитриевич проводил меня в соседнюю комнату, где я мог без помех знакомиться с ними. Полных десять дней ушло у меня на изучение документов и на выписки. Всё это время я приходил на Лубянку, как и было договорено, к одиннадцати и просиживал в своей комнате до шести часов вечера. Еще два дня Петров держал выписки у себя, проверяя, нет ли в них сведений, и по сию пору являющихся секретными, а на третий тетрадь была мне возвращена. Я получил «добро» и готов был начать писать.

Работа не представлялась мне особенно трудной. Мало того что в моем распоряжении находился огромный, интереснейший и никем не разработанный материал, которым я буквально горел, – еще имел и четкие указания о том, что и как я должен писать. Однако всё оказалось не так просто. Неделю я, ежедневно подгоняемый звонками Елистратова, не вставая, просидел за письменным столом, а работа и с места не сдвинулась. Не было героя. Не было того, ради кого я собирал весь материал, ради кого писался очерк. Того, кто должен был стать образцом для миллионов советских людей. Я прекрасно понимал, что секретный сотрудник, солдат невидимого фронта, в силу специфики своей работы не может вот так, запросто, как токарь, инженер или артист, предстать перед читателями «Известий». Какой же он тогда, к черту, секретный сотрудник? И в то же время я не видел, как можно написать очерк без него. Всё, что я делал, было неубедительно; абстрактный сотрудник, который выходил из-под моего пера, ни у кого не мог вызвать ни преклонения, ни даже просто доверия. Я и сам не верил в него. Промучившись десять дней, я пошел к Елистратову. Он сразу принял меня. Входя в кабинет, я слышал, как он говорил кому-то по телефону: «Через минуту он будет».

Первым его вопросом было: «Ну что, наконец сделал? – Впервые он говорил со мной на «ты». – Там, – он указал пальцем вверх, – уже торопили, спрашивали, не надо ли тебе дать в помощь журналистов поопытнее. С трудом отбил. Ну, давай что принес».

В ответ я начал объяснять Николаю Ивановичу, что работа еще не закончена, что у меня проблемы, с которыми я не знаю, что делать; две-три фразы он слушал меня спокойно, всё так же весело улыбаясь, – он настолько был уверен, что я принес уже готовый очерк, что даже не смог сразу перестроиться. Когда же Елистратов понял, что у меня ничего нет, разговор принял неприятный, а по временам и очень резкий характер. Он кричал, что это саботаж, что я «завалил» важнейшее задание, что мне не место в «Известиях». В конце концов я всё же сказал ему, что для очерка мне необходим живой, настоящий, с плотью и кровью секретный сотрудник, и что я хочу со всем возможным реализмом описать, как он работает, как служит Родине.

«Что же, вы хотите, чтобы они ради вас рассекретили одного из своих работников?»

«Да!» – с жаром воскликнул я. Мне показалось, что теперь он понял меня. Но увы!

«Это бред, молодой человек, – продолжил он холодно. – Завтра я доложу о вашем деле главному, и он решит, что с вами делать. Вы свободны».

Дня через три Елистратов зашел к отцу. Весь вечер он был очень весел – шутил, подмигивал мне, но о деле не сказал ни слова и, только надев пальто, вдруг попросил проводить его. Мы вышли на улицу. Был конец марта, но снег еще везде держался; лужи, растопленные дневной оттепелью, затянулись ледком и хрустели под ногами. Мы молча прошли по бульвару от Кировской мимо Чистых прудов, мимо Казарменного переулка, повернули к Солянке, и тут, уже подходя к дому, Николай Иванович сказал:

«А знаете, Сережа, главный вас поддержал. Он уже сам звонил на Лубянку. Там сначала, конечно, на дыбы: виданное ли дело – рассекречивать сотрудников. Тогда он – в ЦК. Там всё поняли правильно и – за. Он снова на Лубянку. Они – ни в какую. Тогда – прямо к Лаврентию Павловичу, и тот, представьте, немедленно санкционировал. Так что всё, Сереженька, как в сказке. Поздравляю тебя. Завтра опять пойдешь к Петрову, он уже всё знает и даст тебе героя для очерка».

Утром мы созвонились с Петровым, и к десяти я был у него.

«Пишите исходные данные, – сказал он, – Кострюков Константин. Фронтовик, преподавал математику в школе. Расследование, которое мы начали благодаря его помощи, еще не окончено, но уже сейчас можно сказать, что дело одно из крупнейших: здесь и предательство Родины, и шпионаж, и антисоветская агитация».

Когда я услышал фамилию Кострюкова, мне и в голову не пришло, что это мой однополчанин Костя Кострюков: слишком невероятным было совпадение. Но, как ни странно, дописывая очерк, рисуя портрет своего героя, я иногда невольно, а подчас и намеренно использовал многие черты моего фронтового товарища; может быть, поэтому его облик получился таким живым.

Через два дня очерк «Дознание ведет Константин Кострюков» был подписан в печать и 30 марта появился на второй странице «Известий». Без всяких скидок можно сказать: это была сенсация. Если в среднем в «Известия» приходило несколько сот писем, то на «Константина Кострюкова» уже в первую неделю отозвалось шестьдесят тысяч человек, а за месяц пришло почти полмиллиона писем. Еще более разительные цифры сообщил мне подполковник Петров. За тот же месяц у органов появился почти миллион новых добровольных помощников, и по материалам, собранным ими, начато было свыше ста тысяч дел. Результаты превзошли все ожидания. ЦК партии чрезвычайно высоко оценил совместную работу МГБ и «Известий». Лаврентий Павлович лично несколько раз звонил нашему главному, благодарил и обещал всяческое содействие в работе.

В последующие несколько недель мы дали еще целый ряд публикаций о Кострюкове, в том числе и подробное интервью с ним. Однако читательский интерес не ослабевал. Во многих письмах был вопрос, почему «Известия» не организуют личную встречу между Константином Кострюковым и читателями. Несмотря на целый ряд возражений, нам с помощью Лаврентия Павловича в конце концов удалось получить согласие органов. Сначала встреча планировалась в аудитории Политехнического музея, но наплыв желающих был так велик (три четверти из них были немосквичи и приехали в Москву только для того, чтобы увидеть Кострюкова), что пришлось перенести ее в Колонный зал Дома Союзов. Выступление прошло очень удачно. Было много благодарственных писем, и почти во всех – требования: во-первых, чтобы такие встречи-отчеты стали регулярными, и во-вторых, чтобы в «Известиях» появилась постоянная рубрика, посвященная его делу. Условное название – «Дознание ведет Константин Кострюков». Первое предложение было принято. Труднее получилось со вторым.

Вскоре после появления рубрики «Дознание ведет Константин Кострюков» читатели потребовали, чтобы действительно в соответствии с названием следствие было поручено вести самому Константину Николаевичу, так много сделавшему для его успеха. Кстати, дело Кострю-

кова вел очень опытный и прекрасно характеризующийся следователь майор Кононов. Министерство государственной безопасности ответило категорическим отказом. Мы, в свою очередь, написали читателям, что отсутствие специального образования лишает Константина Кострюкова этой возможности. Однако поток писем нарастал, наше объяснение никого не убедило, все восприняли его как отговорку. Пришлось главному опять идти в ЦК, и ЦК выступил на стороне читателей. В постановлении говорилось, что подобные инициативы с мест следует всячески поддерживать. Кононов был отстранен от ведения следствия, и всё дело передано Кострюкову.

Читатели оказались правы. После назначения Кострюкова следствие пошло куда живее. Удалось найти связь между однополчанином Кострюкова Климовым и одним из арестованных по делу о вредительстве на шахтах Донбасса: они оказались двоюродными братьями. Несколько родственников другого однополчанина – Строгова – находились во время войны на территории, временно оккупированной немцами. Были арестованы также Лидия и ее новый муж, лейтенант МГБ Пастухов, знавшие о вредительстве первого мужа Лидии.

Несколько раз мне довелось присутствовать на допросах, которые вел Константин Николаевич. Должен признаться, они произвели на меня сильное впечатление. Первый раз это была очная ставка между бывшими однополчанами Климовым и Строговым, обвинявшимися в предательстве и измене Родине. На отдельных допросах, когда дело находилось еще в ведении Кононова, оба они, сговорившись, показывали, что Родину свою не предавали и не собирались ей изменить, что обмундирование сменяли на обычную одежду, чтобы можно было в деревни заходить, – почти в каждой были уже немцы, и их, конечно, будь они в форме, взяли бы. А если в деревни не заходить, где же едой разжиться? Климов и Строгов утверждали, что в немцев не стрелять они не договаривались, а просто, когда отбились от своих, осталось у них по два патрона на брата, а с двумя патронами только дурак в бой вступать будет. Немцам ничего не сделаешь, а их или убьют, или в лагерь. Вот и решили они, что надо им к своим пробираться, тогда и посчитаются с немцами. Кононову так и не удалось добиться от них признания.

Когда дело перешло к Кострюкову, он на первых порах даже не заговаривал о предательстве. Это были скорее не допросы, а беседы. По очереди в теплый кабинет Константина Николаевича приводили то Климова, то Строгова, и они вместе вспоминали, шаг за шагом восстанавливали свою фронтовую жизнь – июльские и августовские бои сорок первого года, окружение, долгий путь на восток. В изумительной памяти Константина Николаевича сохранились все подробности, все детали их фронтовой жизни, всё, что они говорили тогда, даже тон, которым они говорили, – и вот теперь, через полтора года после конца войны, его память всё настойчивее, всё требовательнее будила память обвиняемых, она была их лоцманом и поводом-рем, и, когда наконец удалось достучаться до их памяти, она уже вместе, теперь по-настоящему вместе с ними, стала кропотливо, ничего не выбрасывая и не теряя, выкладывать мозаику их предательства.

Много раз, встречая Климова, Кострюкова и Строгова во время следствия, я видел, как всё четче проступает на их лицах понимание вины и как ее тяжесть сгибает их плечи. Очная ставка между ними была кульминацией следствия. Встретившись лицом к лицу с теми, с кем его связала совместная измена, каждый из них увидел в другом, как в зеркале, самого себя, увидел всю глубину своего падения и понял то, что так трудно и долго пытался объяснить им Константин Николаевич, понял, что в душе он предал свою Родину в первые же дни войны, что оставался предателем все долгие четыре года, что остался им и после войны, и что только случайное стечение обстоятельств не дало ему возможности нанести прямой ущерб Родине.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.